

«Не поговорили ...»

Собирались наскоро. Обнимались ласково.
Пели, балагурили. Пили, да курили.
День прошел, как не было, не поговорили.

Виделись, не виделись. Ни за что обиделись.
Помирились, встретились, шуму натворили.
Год прошел, как не было, не поговорили.

Так и жили наскоро. И дружили наскоро.
Не жалея тратили. Не скупясь дарили.
Жизнь прошла, как не было, не поговорили.

Ю. Левитанский

Не я первый, не я последний – так было, так есть и так будет. Лишь когда близкие люди уходят из нашей жизни навсегда, мы вдруг понимаем, как много не успели им сказать, сколько всего можно было бы сделать для них ... Простой телефонный звонок, который все откладывался на завтра, или неотправленное письмо долго еще будут ранить наши души после того, как те, кому они предназначались, окажутся недосыгаемо далеко – по ту сторону реки времени, откуда не приходят письма и куда не дотягиваются телефонные провода. К сожалению, оттого, что мы понимаем это, ничего не меняется в наших отношениях с теми, кто еще не покинул земной мир. Мы продолжаем ссориться, копим обиды и откладываем разговоры на потом. Увы, но редко кто способен по настоящему ценить каждую отпущенную нам минуту. Так было, так есть и так будет ...

Телефонный звонок с известием о смерти отца застал меня врасплох. Впрочем, а как же иначе может быть воспринята подобная весть? Еще минуту назад я был занят мыслями и переживаниями по поводу срочной работы, неисправной машины, протекающего водопроводного крана и еще, Бог знает какой ерунды. И вот – всего этого нет – я лицом к лицу с вечностью.

С уходом каждого человека рядом с нами образуется пустота, незаполненная брешь, даже если он и не был нам близок. Друзья же и, особенно, родители уносят с собой частичку нас самих. Только в их памяти живы картины нашего общего пошлого, только родители помнят наши первые шаги и слова ... Эти живые фотографии уходят с ними в небытие.

Отец мой не дожил нескольких дней до семидесяти четырех. Кто-то скажет: «Пóжил», другие подумают, что маловато. Но разве можно одним возрастом измерить жизнь человека? Оглядываясь на годы, проведенные вместе, и вспоминая его немногословные рассказы о том времени, когда меня еще не было, я задаюсь вопросом: «Был ли счастлив мой отец?». Колесо истории прокатилось по его судьбе дважды: война искорежила детство, а революционная перестройка растоптала тихую старость, которую он заслужил. И все же, я не знаю ответа.

Сибирская деревня Круглово, где родился отец, вдали от больших дорог. Зимой она засыпана снегом, весной и осенью отрезана от остального мира непролазной грязью. Зато летом – там настоящий рай: у самого дома река, в которой можно и рыбу ловить, и в полной мере удовлетворить потребность в мальчишеских забавах. В двух шагах лес с земляничными полянами, грибами и всякой живностью.

Ночью над рекой тишина, только всплескивают рыбы, спасающиеся от щуки, да поют лягушки. В костре потрескивают дрова, и искры поднимаются к небу, теряясь среди бесчисленных звезд. Пахнет дымом и запеченой картошкой. Хорошо сидеть и смотреть на языки пламени. Кони, которых послали стеречь, мирно жуют траву и только время от времени встряхивают мордами и пофыркивают.

Перед самой войной моему отцу исполнилось всего семь лет. Когда старшие братья соглашались взять его с собой в ночное, он был по-настоящему счастлив. Был он счастлив и зимой, катаясь с ледяных горок, и на полатях у теплой печки, отогревая замерзшие пальцы в шумной компании братьев и сестер. Чего же еще нужно ребенку для счастья, когда есть большая дружная семья? Из шести детей он был одним из малышей – младше него была только сестра Маша.

Но недолгим было это счастье. Сначала его отец ушел на фронт, потом старший брат Михаил. Похоронки пришли на обоих. Дед мой погиб под Старой Русой. Там полегло много «наших» Кругловских – почти все, кто попал в «Сибирскую Дивизию». Михаил воевал на другом фронте. В сорок втором он приезжал в отпуск по ранению. Вскоре после этого погиб и он – у какого-то ничем не примечательного населенного пункта.

Бабушка осталась одна с пятью детьми на руках. Впрочем, старшие уже работали в совхозе. По деревенским, да еще военным, меркам четырнадцать лет – возраст уже не детский. По утрам и вечерам она опускалась на колени перед иконой Богородицы и долго молилась, отбивая земные поклоны. Не знаю, о чем были эти молитвы. Наверное, и за здоровье, и за упокой. Только я видел сам через много лет ту же икону, в том же доме и бабушку, все так же отбивающую поклоны.

Видно прогневила моя бабушка чем-то Господа – двух смертей ей в наказание оказалось мало. Погибла еще и старшая дочь, носившая так много обещавшее имя Надежда. В тот трагический день Надя с подругами возвращалась после работы домой на грузовике. Машина была перегружена мешками с картошкой, а девушки сидели на них сверху. Водителя подвела скользкая глинистая дорога. У края дамбы, которая круто обрывалась в пруд, машина не удержалась и перевернулась ... Каждый раз потом, когда мы проезжали по этой дамбе, отец говорил мне с давней печалью в голосе, что здесь погибла Надя. Наверное он любил сестру – только в деревенских семьях не принято было проявлять чувства.

Был ли счастлив мой отец в те военные годы – не знаю. Он сдерживал свои чувства и в разговорах со мной, а я не спрашивал – быть может, подсознательно следуя той же традиционной крестьянской сдержанности, переданной мне через поколения. Как и все в то время, он работал: окучивал картошку под палящим солнцем, до боли в руках носил ведрами воду на грядки с огурцами, пилил и колол дрова, чистил коровник, да мало ли что еще ... Конечно, десятилетнему мальчишке хотелось бросить тяжелую работу и побежать на речку или в лес. Однажды он так и поступил, оставив тяпку меж недополотых картофельных грядок. Бабушка моя была женщиной властной, да и как иначе было совладать с пятью детьми, растущими без отца. Наказание поэтому последовало незамедлительно. Только самым страшным было не оно, а молчаливый укор старших братьев. Картофельное поле и огород были основными источниками питания для всей семьи. Наверное тогда-то и были посеяны в его душе зерна ответственности и тудолубия.

Школы в Круглово не было – ездили в соседнее село Кольцово, километрах в пяти. Впрочем, ездили только, когда была попутная подвода. А чаще просто ходили пешком. Учились все вместе – в одном классе и старшие, и младшие. А по вечерам за большим столом все вместе готовили уроки.

Учиться моему отцу нравилось. Если бы не война, возможно закончил бы десятилетку, а то и дальше бы пошел. Но где уж там Осиротевшая многодетная семья не могла себе позволить такой «роскоши». После седьмого класса он уехал в город – начал учиться в железнодорожном техникуме, где выдавали форменную одежду, да еще и стипендию.

Поначалу изучал он бухгалтерию. Среди однокурсников было много фронтовиков. Относились к ним уважительно, старались перенять «взрослый» взгляд на жизнь, подражали во всём – даже в том, что было, скорее, их недостатками. К примеру, глядя на них, отец мой начал курить и потом не мог избавиться от этой привычки почти до конца жизни. Но и хорошему он научился тоже. Много раз он вспоминал однокурсника, который на войне лишился кистей рук. Какой-то изобретательный хирург сделал ему надрезы на том, что от них осталось, так, что получилось подобие клешней. Этими-то клешнями тот фронтовик умудрялся писать каллиграфическим почерком. Отца это поразило настолько, что он тоже выучился писать аккуратно и красиво. Какое-то время потом он даже подрабатывал изготовлением афиш для кинотеатра. А привычка писать старательно сохранилась у него навсегда. Я тоже в детстве стремился подражать почерку отца.

Бухгалтерия, все эти дэбиты и крэдиты, были далеки и чужды душе шестнадцатилетнего мальчишки. Колонки цифр и щелканье костяшками на щётах – это для инвалидов, а он, здоровый и полный сил, сможет найти работу поинтересней скучного сидения в кабинете. Вместе с несколькими приятелями мой отец перешел из техникума в железнодорожное училище, где тоже давали форму, а сама учеба была не в пример более короткой. Вскоре он уже ездил кочегаром на паровозе – получал не стипендию, а полную зарплату, из которой даже мог что-то посылать матери в деревню.

Несколько раз, помню, он полусерьезно-полушутя сетовал, что зря тогда бросил техникум. Сидел бы, мол, сейчас в теплом кабинете вместо ночных поездок, переключал бумажки, все праздники был бы дома... Но все эти сожаления были нарочитыми. Когда он говорил так, все понимали, что на самом-то деле он не жалеет ни о чем. Работу свою он любил. Ему нравилось движение, скорость, нравилось править и многотонным поездом, и легким маневровым тепловозиком. А еще, думаю, в этом присутствовало желание быть не как все – наверное, это подсознательное стремление к свободе. Другие ходят на завод или в контору, сидят там от звонка до звонка под неусыпным взором начальства. А он может оказаться в поездке и ночью, и в воскресенье, и под Новый Год. Зато он бывает дома, когда другие работают, и в пути над ним нет никого. Это, хоть иллюзорная, но все же свобода.

Впрочем, стремление к свободе у отца не было всепоглощающим или даже осознанным. Оно, например, никогда не распространялось на семейные отношения. Женился он рано – в двадцать один, и всю жизнь был очень привязан и к маме, и к нам с братом. С мамой они познакомились у родственников. Ее дядя Ваня был женат на его родной тетке Фёкле. Вскоре после этого они поженились, и семьи таким образом породнились дважды. Интересно было, что дочери Ивана и Фёклы приходились двоюродными сестрами и моему отцу и матери.

Я никогда не слышал слова «любовь» ни от отца, ни от матери, но нет у меня и тени сомнения в том, что они любили друг друга. Так, был ли счастлив мой отец? Если

говорить только о семейном счастье, то не много найдется пар, столь счастливых, как мои родители.

Почти сразу после женитьбы отца призвали в армию. Служил он на Урале в артиллерийской части. В те годы, когда командирами еще оставались настоящие боевые офицеры, в армии не было того безобразия, какое воцарилось в наши дни. Отец поэтому вспоминал свою службу и армейских друзей с теплотой. В детстве я любил перелистывать толстый альбом фотографий, которые он привез оттуда. Мне нравилось слушать его рассказы о солдатской жизни, а он с удовольствием повторял их в ответ на мои вопросы о том кто или что было на снимках.

Я родился вскоре после того, как отец ушел служить. Он потом приезжал в отпуск, но я, конечно помнить этого не могу. А вот его фотография со мной на руках, сделанная в то время, сохранилась. Снимок был сделан в Круглово на берегу реки в веселой толпе родственников и друзей. Отец там выглядит очень счастливым. Да, и как же иначе? Всё замечательно и вся жизнь впереди. После войны прошло уже двенадцать лет; раны, которые она оставила, затянулись; жить становится легче; народ, в массе своей, надеется на будущее; царят подъем и воодушевление ... Кто-то в романтическом порыве готов даже терпеть новые лишения, осваивая целину или строя поселки в глухой тайге.

Из армии отец вернулся другим человеком. Его деревенское мировоззрение, простиравшееся не дальше областного города – Омска, теперь расширилось до границ всей страны. То, что раньше казалось недостижимо далеким и призрачным, сделалось вдруг реальным. В те годы происходило массовое перемещение и перемешивание людей. Быть может, одной из причин тому стало ослабление Сталинского «крепостного права». Так или иначе, подвижные, кто романтикой дальних странствий, кто порывом патриотизма, а кто и просто погоней за «длинным рублем», люди пересекали страну с запада на восток и с севера на юг.

Мои родители не были ни отчаянными романтиками, ни алчными стяжателями, но и они поддались общему настроению. В поисках лучшей жизни они поехали в Узбекистан. Выбор нового места жительства для коренных сибиряков мог бы показаться странным, но он не был случайным. Там, в небольшом городке под Ташкентом, со странным для русского уха названием Чирчик, жила троюродная сестра моей мамы – тётя Шура. Она со своей мамой уехала в Узбекистан в голодные военные годы, а теперь в письмах звала моих родителей к себе. Так мы и оказались в теплых краях в первый раз.

Отец какое-то время работал монтажником-высотником. В этом, наверное, опять проявилось его желание быть не как все. Он потом иногда вспоминал то время и с нескрываемой гордостью напевал куплет из фильма о монтажниках: «Не кочегары мы, не плотники. Но сожалений горьких нет ...». И всё же, паровозы и поезда влекли моего отца сильнее, чем пьянящая опасность высоты. Мы переехали в Ташкент, и отец вернулся на железную дорогу.

Работать он начал на паровозе под началом машиниста, Федора Андреича. Первые годы мы жили в крохотном домике, который сдавал нам дядя Федя, как почтительно называл отец своего машиниста в разговорах с моей матерью. А к самому дяде Феде он неизменно обращался по имени-отчеству. Федор Андреич годился ему в отцы, да и относился к нему по-отечески. Думаю, дядя Федя чувствовал, что в какой-то степени заменил ему погибшего на войне отца и был нужен ему именно в таком качестве.

Домик, в котором мы жили, стоял в глубине тенистого двора, засаженного фруктовыми деревьями и розами, а центральную часть двора занимал дом хозяина. Глава большой семьи, Федор Андреич, представляется мне теперь героем какого-то советского фильма о рабочей династии, каких в те годы снимали много. По праздникам в его

просторном доме собирались дети и внуки. Нас тоже приглашали туда. За столом велись умные разговоры, которых я не понимал, а мы – дети – играли во дворе. Я был самым младшим, поэтому меня иногда обижали, как водится в детских компаниях.

Кроме взрослых детей, которые жили отдельно, у Федора Андреича была еще младшая дочка Ольга – чуть постарше меня. Она была большой выдумщицей и непоседой. Пока она не пошла в школу, мы проводили много времени вместе. На правах старшей, она командовала мной и часто вовлекала в какие-то проказы, из-за которых нас обоих наказывали. Однажды, помню, мы поссорились из-за чего-то и отец взялся нас помирить. Он заставил нас с Ольгой сцепиться мизинцами и повторять слова, как мне тогда казалось, магического заклинания: «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться, то я буду кусаться». Я отнесся к этому заклинанию по-детски серьезно и воспринял его буквально. На следующий же день, после очередной ссоры, я укусил Ольгу за руку так больно, что она с воплями кинулась домой. После этого случая она не отваживалась обижать меня.

Из тех лет помню не много. В памяти сохранились лишь отдельные эпизоды да общее ощущение гармонии мира. Отец приходил с работы, сажал меня на колени и читал стихи из детской книжки. Еще я любил, когда он, положив ногу на ногу, раскачивал меня на свободной ноге, как на качелях. Помню запах роз, которых во дворе Федора Андреича всегда было великое множество, а еще запах первого снега и свою досаду на то, что он так быстро тает. Отец рассказывал мне про сибирские снега, которые не чета здешним, а в моем воображении рисовались гигантские сугробы величиной с дом Федора Андреича – ничего более огромного я представить себе не мог.

Мама работала почтальоном – разносила телеграммы. Оставляя меня было не с кем, поэтому я ходил с ней. Когда мы приближались к калитке очередного адресата, нам навстречу обычно бросалась собака. Я очень боялся этих собак и просил маму взять меня на руки задолго до того, как мы подходили к калитке. Так она и шла от дома к дому – на плече почтальонская сумка, а на руке я.

Года за два до того, как мне пойти в школу, родители сумели собрать денег на то, чтобы купить свое собственное жилье. Ни о каких банковских займах в те годы и не слыхивали. Что-то удалось скопить, а недостающую сумму одолжили братья. Мы стали собственниками половины дома – минутах в десяти ходьбы от дома Федора Андреича, у которого продолжали бывать, почти на правах родственников. У нас теперь было целых две комнаты и небольшой дворик.

Дом был обветшалым, но зато нашим собственным. Там не было ничего – даже электричества. Я хорошо помню, как в первый вечер мы сидели при свете лучины – наверное, в хлопотах переезда забыли купить свечи. Долго потом еще мы пользовались керосиновой лампой, пока около дома не поставили столб и не подвели к нему провода. Все соседи собрались смотреть, как монтер, надев на ноги металлические крючки – «кошки», взбирался на столб, чтобы подключить их.

Отец сразу же принялся благоустраивать наше жилье. Не знаю, где и когда он научился, к примеру, плотницкому или столярному делу, но у него все получалось. Может быть сказывалось его крестьянское происхождение – впитанная с молоком матери привычка полагаться только на себя самого. Крестьянская же тяга к собственному гнезду придавала ему сил и энергии.

Через год дом наш уже нельзя было узнать. Протекающая крыша была покрыта заново, в дом был проведен водопровод, отец сам сложил печь, которая исправно грела нас все последующие годы Потом он пристроил кухню и душевую, на крыше которой поставил большой бак для воды. Летом жаркое ташкентское солнце нагревало воду в нем так, что приходилось разбавлять ее холодной, чтобы не обжечься.

Дворик был крохотный, поэтому места хватило только для одного вишневого дерева да нескольких виноградных лоз, которые отец посадил вдоль забора. По специально сделанным подпоркам они потом разрослись и укрыли сверху почти весь двор, словно шатром. Летом мы обычно обедали и ужинали во дворе под сенью этого густого виноградника. Сверху над нами нависали тяжелые гроздья муската. Отец ставил стремянку и срезал нам на десерт ту гроздь, на которую мы указывали.

К слову сказать, виноградник наш оказался необычайно урожайным. Даже знатоки поражались количеству и размерам виноградных кистей, которые на нем вызревали. В самом начале, когда лоза еще только начинала разрастаться и не плодоносила, все друзья и знакомые советовали отцу пригласить специалиста, чтобы правильно подрезать ее. Оказывается, от того, какие побеги оставлены, а какие удалены, зависит количество и качество будущих плодов. Отец же мой и тут решил положиться на свое крестьянское чутье. Не знаю как, но ему – уроженцу сибирской деревни – удалось подрезать лозу так, что наш небольшой виноградник стал «чашей изобилия». Сами мы просто не могли съесть все, что на нем произрастало, – приходилось призывать на помощь друзей.

Приведя в порядок дом и двор, отец занялся изготовлением мебели. Мне было очень интересно наблюдать, как он выпиливал какие-то странные детали, подгонял, склеивал их, и вдруг возникало нечто очень нужное в доме: то табуретка, то письменный стол Многие часы, а то и целые дни, я проводил с отцом в нашем сарае, где у него была мастерская. Там имелось всё необходимое для работы. Теперь, когда мне бывает нужно сделать что-то своими руками, я с завистью вспоминаю ту отцовскую мастерскую с огромным, во всю стену, верстаком и разнообразными инструментами, развешанными над ним. До сих пор помню пьянящий, смолистый аромат свежих стружек, которых было очень много, когда отец делал что-то большое. Я зарывался в эти стружки с головой, за что потом получал нагоняй от мамы, которой приходилось чистить мою одежду.

Между делом, как-то незаметно, отец учил меня. В свои пять или шесть лет я знал уже, чем отличается фуганок от рубанка или долото от стамески, а главное, для чего они нужны. Отец говорил не много – просто отвечал на мои вопросы, а я болтал без умолку. Соседка наша, то ли в шутку, то ли всерьез, жаловалась, что не может уснуть после обеда из-за моих нескончаемых разговоров, которые были слышны даже в ее доме за забором. Помню, как обидно было сдерживать себя и молчать, когда хотелось поделиться с отцом своими соображениями по поводу той или иной детали, над которыми он трудился.

Отец, занятый делом, казалось, не слушал мою болтовню, но не раз и не два я сумел убедиться в том, что это было не так. Перед своим днем рождения – пятилетним юбилеем, я долго рассуждал о том, что у взрослого человека непременно должны быть брюки с карманами и ремень. А я в то время носил бриджи на резинке, сшитые мамой. Каковы же были мои удивление и восторг, когда в подарок я получил и брюки, и ремень. Через пару недель после этого родители повезли меня в фотоателье фотографироваться. Я шел к автобусу гордой походкой, сунув руки в карманы, как моряк, сошедший на берег. И на остановке, и в автобусе все очень возбужденно переговаривались и показывали друг другу газеты. Один из пассажиров, не найдя более достойного собеседника, обратился ко мне. Указывая пальцем вверх, он сказал, что там вокруг земли летает человек, и раскрыл передо мной газетную страницу, с которой на меня смотрел улыбающийся Гагарин.

В шестидесятые годы Ташкент был чем-то похож на древний Вавилон – кто только не жил там: кроме узбеков, русских и всех других народов Советского Союза, в этом городе можно было встретить и немцев, и греков, и даже корейцев. Одни остались здесь после военной эвакуации, другие, как мои родители, приехали, подхваченные ветрами послевоенных переселений, третьи были высланы в Узбекистан Сталиным,

которой почему-то избрал этот благодатный край местом ссылки и для крымских татар, и для корейцев, и даже для греческих партизан-коммунистов, потерпевших в сорок девятом году поражение у себя на родине.

Я с ранних лет привык к разнообразию национальной одежды, лиц, и акцентов. Помню только, что меня очень удивляли те узбекские женщины, которые скрывали свое лицо под паранджой. Тогда еще можно было их встретить где-нибудь на базаре или в автобусе.

Наша улица со странным названием «Печёрская» была Вавилоном в миниатюре. Все мои друзья были греками – вернее, греками наполовину: матери у них были русские. Отец одного из них работал шофером – водил большой грузовик. Когда он приезжал обедать и ставил грузовик рядом с домом, Толик – его сын, позволял нам забираться в кузов и даже в кабину. Он был очень горд, а мы все ему завидовали. Я рассказал однажды своему отцу об этом. Наверное он почувствовал в моих словах и сожаление, и досаду, но не сказал ничего.

Через несколько дней около нашего дома остановился тепловоз – с которого сошел мой отец. Он отправился обедать, а мне разрешил посидеть в кабине и пригласить друзей. Отец тогда работал машинистом маневрового тепловоза на соседней станции, а мимо нашего дома проходила железнодорожная ветка, шедшая на какой-то завод. Моему восторгу не было предела. Я сбегал за Толиком и еще несколькими приятелями, и мы целый час лазали по всевозможным лесенкам, сидели в кабине, где было, не в пример, больше всяких приборов, чем в обычном грузовике, и даже посигналили тепловозным гудком. А после этого отец еще прокатил нас до станции, которая была недалеко. Вечером отец не стал ничего спрашивать – только посмотрел на меня и улыбнулся. А я не мог оторвать от него восторженных глаз.

Вскоре после того, как мы переселились в свой дом, в разговорах моих родителей стало упоминаться имя еще одного дяди Федя – Федора Степаныча. От своих омских родственников они узнали, что в Ташкенте живет этот самый Федор Степаныч, который женат на Татьяне Павловне, сестра которой замужем за дальним родственником моей матери. Короче говоря, что-то вроде «седьмая вода на киселе». После недолгих поисков оказалось, что эти «дальние родственники» живут совсем рядом – чуть подальше, чем Федор Андреич. Знакомство состоялось и очень быстро переросло в крепкую дружбу на долгие годы.

Как и первый дядя Федя, Федор Степаныч был старше моего отца, участвовал в войне, и вообще, был более опытным и умудренным жизнью. Отец относился к нему очень уважительно и всегда прислушивался к советам. Даже имя моему брату, который родился в шестьдесят первом, было окончательно выбрано по совету Федора Степаныча и Татьяны Павловны. Мы часто бывали у них в гостях, как и они в нашем доме. Федор Степаныч хорошо играл на аккордеоне и пел украинские песни.

Мой отец захотел тоже научиться играть. Он купил подержанный аккордеон и записался на курсы. Следуя его примеру, и я стал изучать ноты по самоучителю. Я даже разучил несколько простеньких вещей и мог играть их двумя руками, но инструмент был для меня тяжеловат. У отца успехи были более значительными, но в конце концов он бросил занятия. Музыка требует слишком много сил и времени, особенно, если нет ярко выраженного таланта или абсолютного слуха.

Книг в нашем доме было не много. Почти всё свободное время отец занимался какими-нибудь хозяйственными работами, по вечерам читал газеты или слушал радио. Телевизора в начале шестидесятых у нас еще не было. Да и вообще, они были редкостью в те годы. Помню, с каким интересом мы смотрели фильм «Осторожно, бабушка!» по телевизору, который нам оставила соседка, уехавшая ненадолго к родственникам – та

самая соседка, что ворчала по поводу моих нескончаемых разговоров. Экранчик был крохотным, а перед ним стояла большая линза, наполненная водой.

И всё же книги читались. Родители читали их вслух, по очереди. Очень хорошо помню чтение Шолоховской «Поднятой целины». Они читали и тут же делились своими мыслями, вместе смеялись над незадачливым «дедом Щукарем», сопереживали несчастной любви героев и их поломаным судьбам, а я сидел и слушал. Мне всегда было очень жаль, когда отец говорил, что на сегодня хватит и пора спать. С нетерпением я ждал следующего вечера, чтобы снова окунуться в мир Шолоховских героев, а главное, чтобы ощутить духовное единение с родителями, которое неизменно возникало во время такого совместного чтения книг.

Иногда в разговорах о книгах отец упоминал «Библию». Сам он ее никогда не видел, но понаслышке знал, что она очень мудреная и очень толстая. То ли от бабушки моей, которая не умела читать, то ли от кого-то из деревенских он слышал, что тот, кто прочтет всю Библию, обязательно сойдет с ума. Повторял отец это с иронией, но всё же довольно серьезно. При этом в его голосе слышалось что-то суеверное и даже мистическое. А подкреплял он свои слова сильно искаженными цитатами: о железных птицах, которые будут клевать людей, о паутине, которая опутает землю, о том, что брат пойдет на брата Теперь-то я знаю, что всё это из «Апокалипсиса», а тогда в моем воображении рисовалась огромная книга страшных пророчеств, и всё же как-то не верилось, что от чтения книги можно потерять рассудок. «Вот вырасту», – думалось мне, – «прочитаю Библию, и все увидят, что я вовсе не сошел с ума».

Оторванные от своих корней, родители мои не были религиозными. Икон в нашем доме не было, да и в церковь они не ходили. Пожалуй, единственное, что сохранялось в нашей семье из Православия, был праздник Пасхи. Мама обязательно красила яйца в отваре луковой кожуры и пекла куличи, которые у нас именовались «пасхами». Утро начиналось, хоть и не с молитвы, но с восклицания «Христос воскрес!» и подобающего ответа «Воистину воскрес!». В пасхальное воскресенье все дети выходили на улицу с разноцветными яйцами и начинались баталии – чьё яйцо окажется крепче. Мало кто понимал смысл и значение пасхальных традиций, но они были столь сильны, что на нашей многонациональной улице даже дети крымских татар и корейцев появлялись с крашеными яйцами. Пост никто не соблюдал, а скорее всего даже и не знал о нем, но в воскресенье всюду накрывались обильные праздничные столы и все ходили в гости друг к другу. Если отец в этот день не работал, то мы шли на обед к тому или другому «дяде Феде», или они бывали у нас.

После того, как отец потрудился над его благоустройством, дом наш стал вполне уютным и «комфортным», насколько это было возможным в те годы. Как у всех, у нас было электричество. Как и большинство соседей, летом мама готовила еду на керосинке, а зимой на плите, которая топилась дровами и углем. Раз в неделю на нашу улицу приезжала машина, развозившая керосин. Дрова и уголь покупали осенью и складывали их в сарае. В отличие от многих, отец провел водопроводный кран в дом, а вот «удобства» были, как у всех, во дворе. Раз в неделю мы ходили в баню. Только летом можно было мыться каждый день, благодаря душе, нагреваемой солнцем. Помню, как горячая вода в этом душе больно щипала разбитые коленки и ссадины, которых за долгий день у меня появлялось множество.

Был ли счастлив мой отец в те годы? Наверное, да. Он был молод, а быт, кажущийся нам теперь неустроенным, тогда воспринимался совсем иначе. Так жили многие, а потому и не возникало чувства зависти или даже осознания этой неустроенности. Вспоминаются лишь несколько дней, про которые могу с уверенностью сказать, что они не были счастливыми для моего отца, как и для всех вокруг. Это было в

конце октября шестьдесят второго года – во время так называемого «Карибского кризиса».

Американцы разместили свои ракеты в Турции, и вскоре обнаружили советские ядерные ракеты на Кубе, поставленные им в ответ. Они были в панике и уже готовились нанести удар по «острову Свободы». Наша армия непременно дала бы отпор. Мир стоял у края. Из тех тревожных дней в памяти запечатлелась поразившая меня тогда светомаскировка грузовиков и автобусов. Верхняя часть их фар была до половины закрашена черной краской. По городу ездили такие «подслеповатые» машины, словно бы с опущенными до середины глаз веками.

Не знаю, что происходило в те дни в других городах, но если уж маскировали машины в далеком от границ Ташкенте, значит дело было и впрямь серьезным. Мне в ту пору было чуть больше шести лет – газет я не читал, а из потока замысловатых слов, которые сыпал радиоприемник, уловил лишь странное сочетание «соединенные штаты». Какие-то «штаты» и почему они соединены между собой – понять я не мог, а спрашивать не решался. Отец был угрюм и слушал радио каждый час. Помню, мы сидели за ужином. Отец смотрел то на меня, то на маму с годовалым братом на руках. Налив себе водки, он сказал: «За день грядущий!» и выпил ее залпом.

В тот момент он вспоминал, наверное, и деда моего, и своего брата, и всех односельчан, волею судьбы превращенных в отважных воинов Сибирской дивизии. Мама сидела тихо, опустив взгляд. Думала ли она о своем отце, который тоже сложил голову на той войне, или, быть может, о нас с братом и о том, что мы можем повторить их собственную судьбу – не знаю. Так или иначе, но вечер тот запомнился мне тревогой и тяжестью, висевшими в воздухе.

Ко всеобщему облегчению разум все-таки взял верх. Ракеты наши с Кубы убрали в обмен на какие-то уступки со стороны американцев. Через пару недель и краску черную с автомобильных фар смыли. Лица людей повеселели. Отец мой тоже оттаял – смеялся и шутил, даже по поводу возможной войны – теперь было можно.

Если опустить тот тревожный октябрь шестьдесят второго да очереди за хлебом в разгар Хрущевских реформ, жизнь наша неуклонно улучшалась: отец продолжал благоустраивать дом, стал зарабатывать чуть больше, у нас появился телевизор, мы даже в Омск съездили все вместе. В доме нашем часто собирались гости. Помню многоголосые застолья, песни под аккордеон Федора Степаныча и разговоры обо всем на свете. Не знаю, как относился мой отец к обещанию Хрущева, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», но, думаю, в это наивно верили тогда многие.

В шестьдесят третьем я пошел в школу. Мальчишки в те годы носили суконную форму, очень похожую на солдатскую: гимнастерка, ремень с медной бляхой, на которой вместо звезды была буква «Ш», фуражка с кокардой. Очень колючей была эта гимнастерка, но я гордился своей формой. Отец учил меня пришивать к гимнастерке белые подворотнички и правильно делать складки сзади под ремнем. А еще он учил меня писать красиво и с нажимом. Иногда, стараясь сделать это, я нажимал так, что с перышка соскакивала большая капля чернил и разливалась жирной кляксой по тетрадке.

Отец занялся любительской фотографией. Помню свое нестерпимое любопытство, когда он принес раздобытый где-то старый аппарат с объективом,двигающимся по специальным рельсам и соединенным с камерой при помощи черной гармошки. Снимки в нем делались на стеклянные фотопластинки, которые в ту пору уже трудно было найти в магазинах. Несколько штук мы по неосторожности засветили – я пользовался ими потом в качестве фильтра, чтобы смотреть на солнце во время затмения. Немного поснимав этим музейным экспонатом, отец купил простенький, но современный аппарат и все необходимые принадлежности, чтобы и пленку проявлять, и

фотографии печатать. Мы вместе с ним тренировались вслепую заряжать пленку в кассету и фотобачок. В наши дни нужды в этом нет, но я бы и сегодня без труда проявил пленку в абсолютной темноте.

Жизнь наша мягко катилась по рельсам, которые давали о себе знать лишь редкими ударами на стыках: то совнархозы какие-то введут, то кукурузу заставят сеять повсеместно, а то и главу государства заменят по-тихому. Впрочем, все это происходило где-то там, почти в другом мире. До нас долетали лишь отголоски событий. Рельсы, однако, никогда не бывают бесконечными – где-то они обязательно заканчиваются станцией или разветвляются на стрелке. На нашем пути такая развилка случилась в апреле шестьдесят шестого.

Рано утром двадцать шестого апреля еще до рассвета мы проснулись от страшного, хоть и не очень громкого, гула. Дом дрожал и с потолка сыпалась штукатурка. Первая моя мысль была: «Война!». К тому времени я насмотрелся уже достаточно фильмов о войне, чтобы именно так среагировать на происходящее. Уверен, что многие в то утро подумали то же самое – очень уж похожи были первые толчки землетрясения на бомбардировку.

Родители схватили нас с братом и бросились на улицу. Там было полно народу. Все соседи, как и мы сами, выскочили не одетыми – кто в чем спал. После того, как люди немного успокоились, начали раздаваться смех и шутки по поводу одежды, вернее, ее отсутствия. Постояв немного, все разошлись по домам, но через полчаса случился еще один толчок и люди вышли на улицу снова, теперь уже одетые «более подобающе».

Чуть позже я отправился в школу. Занятия, конечно же, были отменены, но мы с мальчишками долго не расходились по домам – делились рассказами о том, кто и как выскакивал на улицу, и где и что разрушено. Наша школа не пострадала, но подземные толчки повторялись почти каждый день, поэтому проводить уроки в здании нам не разрешали. Вместо этого учительница собирала нас в большом дворе у одной из одноклассниц, родители которой поставили там длинный стол и скамейки вокруг него. Было очень интересно и весело. Вскоре, однако, нас досрочно распустили на летние каникулы. После этого жизнь повернулась так, что я больше не видел никого из тех своих одноклассников никогда.

Центр Ташкента был сильно разрушен, были и жертвы, но, к счастью, не столь значительные, как можно было бы предположить. Отец часто повторял, что нас обманывают, что не могло быть только восемь погибших. И тем не менее, теперь, после многих десятилетий, мы знаем, что нам говорили правду – редкий в те времена случай. Повезло, что первые толчки были, хоть и сильными, но вертикальными – стены не падали.

В конце апреля в Ташкенте уже тепло, цветут розы – до сих пор в памяти сохранился их сладковатый аромат из той далекой весны. У нашего дома был разрушен только чердак, да появилось несколько трещин на стенах. И все же мы не решались спать в нем. Как и многие, у кого была возможность, мы поставили кровати во дворе. Теперь, даже если ночью трясло, мы не вскакивали с постели.

Удивительно, но я не помню, чтобы люди были подавлены или очень сильно опечалены свалившимся несчастьем. Эта беда как-то сплотила их – все старались помочь друг другу. Ну, конечно же, были и такие, кто наживался на беде – не без этого. Кто-то брал взятки за справки о разрушении и непригодности дома, кто-то другой умудрялся получить и компенсацию, и новую квартиру, да еще и продать свое «непригодное» жилье. Только их было не много.

Подземные толчки продолжались еще около месяца. Большинство соседей с нашей улицы относились к происходящему философски, как к дождю или снегу, которые человеку неподвластны, и даже с некоторой долей юмора. В разговорах можно было

услышать истории о том, как кто-то выбежал из дома, оставив яичницу на плите, а другой выскочил из душа – весь в мыльной пене. Все это рассказывалось иронично и легко.

Поток грузов в Ташкент возрос многократно и все они почти шли по железной дороге. Работы у отца поэтому прибавилось. Каждый раз, возвращаясь домой, он рассказывал о том, что видел, и делал вывод, что город непременно будет отстроен заново. Надо сказать, что понимали это все и были уверены, что страна их не бросит.

Для нас – детей то время было необычайно интересным. Обстановка вроде бы, как военная, и в то же время это не война с ее ужасами и горем. Нас распустили на каникулы на целый месяц раньше срока. На лето можно было без особого труда получить путевку в пионерский лагерь почти в любом конце страны. Те, кто хорошо учился, могли попасть даже в Артек. При желании я мог бы оказаться одним из них. Но родители, связавшись с родственниками, решили отправить меня в Омск. Я был несказанно этому рад. Во-первых, потому, что все мои друзья куда-то уезжали, во-вторых, я должен был впервые лететь на самолете, и, наконец, потому, что тяга к перемене мест есть в каждом из нас.

Десятилетнему ребенку одному лететь бы не разрешили, поэтому, когда мы с отцом покупали для меня билет, он нашел в очереди какого-то мужчину, который согласился быть моим сопровождающим. В день отъезда все мои мысли были устремлены вперед, к предстоящим встречам с новыми людьми и местами. Я и не думал, что покидаю Ташкент очень надолго, а своих друзей быть может навсегда.

В те годы порядки в аэропортах были очень простыми – отец проводил меня до самого трапа самолета. Погладив по голове, он пожелал мне счастливого полета и поцеловал. А я, смущенно оглядевшись по сторонам, поспешил подняться на борт – к новой жизни.

В Омске я жил сначала у дяди Гриши – маминого брата, потом меня забрал к себе в Круглово брат отца – дядя Вася. Городская жизнь – она всюду одинакова, а вот в деревне всё было для меня новым: лес, где я собирал землянику, костянку и грибы; река, где я в то лето научился плавать; парное молоко и чудесные блины, которые бабушка пекла в русской печке. Удивляло то, что многие в деревне знали, кто я такой, и доводилось мне какими-то родственниками.

Поначалу я вел себя несколько застенчиво и всего чурался, но пообвыкнув, стал чувствовать себя частью этой деревенской жизни. Мог узнать нашу корову в стаде, окучивал картошку на том самом поле, где мальчишкой трудился мой отец, прыгал в речку с тех же самых мостков, что и он.... Однажды мне даже доверили телегу с запряженной в нее лошастью, чтобы поехать на ферму, где дядя Вася что-то чинил в совхозном коровнике.

В то лето я прикоснулся к детству моего отца. Мне было десять лет – столько же, сколько ему исполнилось в сорок четвертом. Если он воспринимал мир так же, как я, с теми же радостями и огорчениями, то детство его было счастливым. Впрочем, не знаю – ведь тогда еще шла война и он уже осиротел. Спросить бы его самого, но я этого не сделал, пока он был жив, а теперь уже поздно.

Однажды дядя Вася принес письмо от отца. Он долго читал его молча, потом дал мне и в своей немногословной манере сказал: «Пиши отцу, чтобы ехал в Омск». Я схватил листочки, плотно исписанные знакомым аккуратным почерком. Отец подробно писал о ташкентской жизни, о маме с братом, о соседях и моих друзьях Самое интересное было в конце: наш дом признали аварийным и поэтому была возможность получить квартиру в каком-нибудь другом городе. Тогда еще не слыхивали такого слова «беженцы» – просто вся страна помогала пострадавшим.

Список городов, которые выделили квартиры для ташкентцев, был довольно длинным. Он включал даже Москву и Ленинград, которые и по сей день остаются

мечтой многих жителей провинции. Был в этом списке и Омск. Я тут же сел писать ответ, в котором с жаром рассказывал о том, какая у меня тут замечательная жизнь. Дядя Вася, читавший письмо перед тем, как запечатать его, рассмеялся над моей последней фразой: «Переезжайте в Омск – и никаких гвоздей!». Мне почему-то казалось, что так будет звучать более убедительно.

Мое мнение, конечно, учитывалось, но, наверное, не было определяющим. Родители к тому времени прожили в Узбекистане уже девять лет. Всё та же тяга к перемене мест подталкивала их к тому, чтобы воспользоваться предоставившейся возможностью: и новую квартиру дают, и переезд оплачивают.

Так или иначе, но в конце лета они уже были в Омске. Нам дали трехкомнатную «хрущевку» в новом микрорайоне – Городке Нефтяников. Вместо еженедельных походов в баню собственная ванна с горячей водой, вместо керосинки газовая плита – жить стало значительно удобнее. Не было здесь, однако, нашего виноградника, а вместо уютного дворика имелся только крохотный балкон.

Отец конечно же хотел устроиться на железную дорогу, но в Омском депо ему предложили только должность помощника машиниста. К тому времени он уже несколько лет сам управлял тепловозом и поэтому воспринял такое предложение с некоторой обидой. После недолгих поисков он пошел работать на химический завод, который из нефтепродуктов делал каучук. Выбрал он это место, наверное, потому, что завод был рядом с домом. Там у них имелся свой собственный тепловозик, который перемещал вагоны с сырьем и продукцией по территории. Как профессионального и опытного железнодорожника, его поставили старшим машинистом в бригаде, работавшей на этом тепловозе. Отец среди них был единственным, у кого имелись «корочки» – права на управление тепловозом. Поэтому, когда изредка возникала необходимость выехать за территорию завода – на соседнюю станцию, он делал это сам.

Пришла зима и я своими глазами увидел сибирские снега и почувствовал суровые морозы, о которых отец мне рассказывал так много. Коренной сибиряк по рождению – я лишь теперь – в десять лет, начал учиться ходить на лыжах и кататься на коньках. Было что-то романтическое в долгих зимних вечерах, когда за окном завывает вьюга, а в комнате тепло и уютно. Занятия в школе отменялись, если температура опускалась ниже минус тридцати. Встав утром, я поэтому первым делом шел к заледенелому окну и сквозь небольшие проталинки пытался разглядеть шкалу термометра, висящего снаружи.

Жизнь наша быстро вошла в свою новую колею. Работа на заводе сделала отца похожим на всех остальных: у него не было теперь ночных смен и каждое воскресенье он проводил дома. Заводской парторг стал вести с ним разговоры о вступлении в партию. Его собирались поставить во главе транспортной бригады, а руководить коллективом, пусть даже из двух человек, должен был коммунист. Отец не хотел никуда вступать и находил какие-то объяснения и благовидные предлоги. Парторг пока принимал их, но ясно было, что придет момент, когда терпение его кончится.

У отца моего никогда не было веры в коммунистические идеалы, но и диссидентских настроений тоже не было. Его нежелание вступать в партию объяснялось просто: не хотел иметь над собой дополнительных начальников, которые, к тому же, известны своей надменностью и стремлением подчинять себе всех и вся. Вскоре произошло событие, которое еще более укрепило его в этом нежелании.

В один из выходных дней, когда мы собирались в гости к родственникам, с завода приехала машина за отцом. Водитель ничего не знал – сказал только, что там что-то случилось с тепловозом. Вернулся отец ближе к вечеру – очень расстроенный. Оказалось, что один из его подчиненных, то ли по незнанию, то ли по неосторожности, а скорее всего, и по той, и по другой причине устроил пожар – у него загорелся дизель, и сам он чуть не погиб. Еще месяц после этого шли разбирательства. Отца вызывали «на ковер» и

к директору, и в партком, и еще куда-то. Он ходил чернее тучи и все ругался: берут, мол, балбесов, которым не то, что тепловоз, а велосипед нельзя доверять. Начальство же, хоть и пыталось переложить часть вины в случившемся на отца, прекрасно понимало, что им нужен профессионал, и поэтому парторг продолжал свои настойчивые разговоры.

Первая зима в Омске показалась нам очень долгой, темной и холодной. Зато пришедшая ей на смену весна принесла настоящую радость. Солнце поднимается высоко, слепит, отражаясь от подтаявших сугробов, греет так, что хочется снять шапку, перчатки и даже расстегнуть пальто. Шагаешь по только что расчищенному асфальту, а кажется будто летишь на крыльях – наверное потому, что не боишься поскользнуться и упасть. А какое чудо – ледоход на Иртыше! Гул его слышен за километр от берега, а то и дальше. Быстрое течение несет огромные льдины, которые сталкиваются, вздымают из воды свои ломаные края и с грохотом раскалываются. Воздух наполнен небесной синевой, солнечным светом и весенней влагой.

Лето с лихвой отплатило нам за долгие зимние ночи – теперь сумеречное время длилось не более часа или двух. В воскресные дни нам редко приходилось скучать дома. То навещали многочисленных родственников, то кто-нибудь из них бывал у нас, а если выдавалась хорошая погода, мы все вчетвером отправлялись на пикник. Я очень любил эти походы на берег Иртыша. Отец купил бамбуковые удочки и мы пытались ловить рыбу. На балконе у нас хранилась большая жестяная банка, в которой жили дождевые черви, накопанные впрок. Я их подкармливал, насыпая поверх земли заварку из чайника. Так что наживка у нас была наготове всегда. Лишь один или два раза удалось поймать несколько маленьких ершей и пескарей, но эти неудачи нас не останавливали. Да и не рыба была нам нужна.

Теперь я сам отец и понимаю, что испытывал он, сидя рядом со мной на берегу реки, глядя на неподвижные поплавки и рассказывая мне истории из своего детства. С его стороны было чувство отцовской нежности и желание увидеть радость в моих глазах. А я ощущал его заботу и чувствовал себя защищенным от внешнего мира его сильными руками, жизненным опытом и мудростью. Мне льстило то, что отец разговаривал со мной, как со взрослым. Я очень любил эти мгновения. Нет, не рыба нам нужна была там.

А рыбу мы приносили с собой. Пока мы с отцом и младшим братом терпеливо ждали поклёвки, мама варила на костре уху. Её аромат, смешанный с запахом дыма, заставлял нас думать о еде, но мы продолжали делать вид, что поглощены рыбной ловлей. Когда мама подходила и громко объявляла, что всё готово, мы укоризненно смотрели на нее и просили не пугать рыбу, однако, без сожаления оставляли удочки, воткнув их в песок, и шли к накрытому столу – вернее к растеленному на песке одеялу, на котором были живописно разложены редиска, зеленый лук, солёные грибы, вареные яйца и еще, Бог знает, какие яства. Река едва слышно журчала в прибрежных камешках, в небе с криками летали чайки, прохладный ветерок от воды доносил слабый запах прелых водорослей, а мы наслаждались то ли горячей ухой, то ли тем, что были все вместе.

Потребность в том, чтобы быть вместе не только физически, но и душой, есть и у взрослых, и у детей. Детям, наверное, это даже важнее. Причем духовного единения с родителями им достичь очень легко – их душа открыта и готова к такому контакту, нужно лишь небольшое усилие со стороны родителей. У меня чувство духовной близости с родителями возникало всегда во время совместных походов, будь то рыбалка или поход в кино. Запомнилось, как мы ходили в кинотеатр «Кристалл» смотреть только что вышедший фильм «Бриллиантовая рука», как смеялись и обсуждали героев, возвращаясь домой.

Лето было жарким, но очень скоро кончилось. Вечерами, сидя за чаем, мы частенько вспоминали Ташкент – его Алайский базар с горами арбузов и дынь, наш собственный виноградник и теплые ташкентские вечера, когда воздух недвижим, от

земли поднимается накопленное за день тепло, а в кромешной темноте звонко стрекочут цикады. Тогда я не знал еще такого замысловатого слова «ностальгия». Да и родители мои не слыхивали его. Теперь же понимаю, что все мы заболели этой весьма мучительной болезнью. Случалось, показывали по телевизору песни и танцы разных народов страны. Едва заслышав знакомые звуки узбекских мелодий, мы бросались к экрану. Живя в Ташкенте, мы никогда не слушали эту музыку, но здесь – вдалеке она вдруг сделалась для нас родной и возвращала в тот солнечный край.

Наша вторая омская зима была на исходе, когда в один из вечеров родители объявили мне, что собираются возвращаться в Ташкент. В первый момент я воспринял эту новость с чувством испуга и протеста, высказывал какие-то доводы и жарко спорил. Но родители были непреклонны. Отец не стал пользоваться своим правом главы семьи. Мог бы ведь попросту сказать, что мы едем – и никаких возражений. Вместо этого он пытался меня убедить.

Разговор с отцом помог мне разобраться в своих собственных чувствах. На самом деле я тоже хотел в Ташкент – только боялся менять школу, в очередной раз идти в новый класс. Теперь все эти страхи кажутся наивными и смешными, а тогда я глубоко переживал и страдал. В свои первые школьные годы я легко сходился с одноклассниками и даже был заводилой и в школьной компании, и среди мальчишек с нашей улицы. Потом, когда из-за близорукости мне пришлось надеть очки, характер мой стал быстро меняться. Детские, и особенно, мальчишеские сообщества очень жестоки. Меня стали дразнить очкариком и это сделало меня существом низшего сорта в глазах окружающих и, что самое страшное, в моих собственных глазах. Поначалу я еще дрался и отстаивал свое достоинство, но постепенно смирился. Я всегда хорошо учился и уважение, которое этому сопутствовало, отчасти компенсировало мою «ущербность», но переход в другую школу меня всё же очень пугал.

После нескольких дней мучительных раздумий я из противника сделался пылким сторонником переезда в Ташкент. Мы с жаром обсуждали будущее, строили планы и вспоминали прошлое. Возникал вопрос: как эти планы осуществить? Родители мои никогда не были оборотистыми в делах денежных. Уезжая из Ташкента, они попросту бросили дом – ведь он был признан аварийным и нам дали новую квартиру. Между тем, сосед наш, который занимал вторую половину дома, подлатал трещины, прорубил дверь и присоединил его к своей половине вместе с нашим двором и виноградником. Родители не собирались предъявлять права и что-то требовать – это было не в их характере. Мы начали поиск квартиры на обмен.

В те годы в Омске, как и в других городах, ежемесячно издавался специальный бюллетень, где печатались объявления подобного рода. Мы поместили там свое объявление и с надеждой просматривали каждый новый выпуск бюллетеня. Увы, но желающих менять Ташкент на Омск не было. Ближе к лету мы решили на семейном совете, что отцу надо ехать в Ташкент одному, устраиваться там на работу и искать обмен на месте.

Вскоре он уволился с завода и уехал. Парторг долго убеждал его остаться, сулил золотые горы, но отец не поддался на уговоры. В Ташкенте он поселился у Федора Степаныча в маленьком домике, который стоял в глубине двора – совсем как десять лет назад, когда мы жили у другого дяди Феди – Федора Андрейча. Так отец попал в теплые края во второй раз и начал все заново.

Впрочем, начал он не совсем с нуля: в депо отца все помнили и были рады его возвращению. Вместо маневрового тепловоза он пошел на «настоящую» работу – «в поезда». Машинисты, водившие поезда, считались в депо элитой. От маневровых они отличались почти так же, как капитаны дальнего плавания от капитанов портовых буксиров или каботажных суденышек. Хотя, конечно, в таком сравнении есть некоторое

преувеличение. Машинист никогда не уезжает от своего депо дальше, чем на двести-триста километров. В отличие от кораблей, поезда передаются по эстафете. Вся сеть железных дорог разбита на участки, обслуживаемые своими депо. Границы участков проходят по станциям, где машинист передает поезд своему коллеге с другого участка, а сам после нескольких часов отдыха принимает поезд, идущий в обратном направлении.

Прежде, чем отправиться в поездку самостоятельно, каждый машинист ездит какое-то время либо помощником, либо просто пассажиром – изучает трассу, запоминает, все подъемы, спуски и ложбины. На взгляд все эти неровности пути незаметны, но без точного знания, где следует разогнаться, а где притормозить, тяжелый грузовой состав может застрять на подъеме – особенно, если приходится ехать медленно, когда поезда идут плотным потоком. Вагоны цепляют столько, что тепловоз не в состоянии тронуть поезд с места, когда он стоит на склоне. Если такое случается, приходится вызывать вспомогательный тепловоз, а это ЧП – задержка движения.

Начинающие машинисты очень боятся «растянуться» – так они говорят о той неприятной ситуации, когда не могут сдвинуть поезд с места. Обычно, если чего-то очень боишься, оно обязательно случается. Именно так и произошло с моим отцом во время его первой самостоятельной поездки – встал на перегоне. К счастью, до вызова помощи не дошло. Он сжал длинный поезд, сдал тепловоз назад, а потом резко рванул вперед. Пока импульс рывка добрался до хвоста состава, его головная часть уже набрала ход и потянула за собой всё остальное. Отец очень переживал по поводу этой своей неудачи. В письме он подробно рассказывал нам, как всё было, и ругал себя. Больше ничего подобного с ним никогда не случилось.

Лето приближалось к концу, а мы всё еще не могли найти обмен. В конце концов, было решено, что мы едем к отцу, а там видно будет Во второй раз за мою недолгую жизнь я навсегда прощался с друзьями. Сколько еще будет таких потерь! – тогда я и не подозревал.

Поезд из Омска идет до Ташкента около трех суток – всё через бескрайние просторы казахских степей. На второй день пути, выйдя из вагона на какой-то станции, я ощутил знакомый южный зной и почти забытый запах шелковицы, росшей неподалеку. И жара, и шелковица, и опаленные солнцем лица казахов ... – всё это было таким близким и родным! Да сибиряк ли я вообще? Не знаю, что бы я ответил в тот момент.

Встреча с отцом затмила долгожданную встречу с Ташкентом. Он тоже был необычайно растроган – я даже заметил на его щеке слезинку. Это был один из тех моментов, когда отец был по-настоящему счастлив. Дома нас ждали горы фруктов, невероятных размеров мирзачульская дыня и бесконечные разговоры....

Город необычайно изменился. Всюду шло строительство. И хоть не всё ещё было закончено, было видно, что новый Ташкент станет красавцем. Следы землетрясения остались в виде подпорок, поддерживающих стены уцелевших старых домов. Тогда, в шестьдесят шестом, когда еще продолжались подземные толчки, люди соорудили треугольные кирпичные кладки снаружи у стен. Эти кирпичные подпорки сохранялись потом еще долгие годы. Не удивлюсь, если они есть где-то и по сей день.

Август готовился перейти в сентябрь, мне надо было устраиваться в школу, а подходящий обмен так и не находился. Нет, какие-то предложения были, но квартирки слишком маленькие. Поглощенные этой заботой, мы и не заметили «главного» события шестьдесят восьмого года – восстания в Чехословакии. Подобно тому, как в наши дни американцы устраивают «цветные революции» то в одной, то в другой стране, пытались они проделать это и тогда в Чехословакии. Не знаю, как развивался бы мир, если бы их попытка оказалась успешной. Во всяком случае, их нынешние «революции» ничего, кроме несчастий и бед, людям не приносят.

В самом конце августа отец нашел подходящих размеров квартиру, но только не в Ташкенте, а в небольшом городке Янгиюль – это в тридцати километрах к югу от него. Через этот городок проходила железная дорога, а на соседнюю с Янгиюлем станцию с очень громогласным названием «Узбекистан» он ездил, чтобы принимать поезда и отправляться в путь. Если бы мы переехали в Янгиюль, добираться до этой станции ему стало бы даже ближе, чем из Ташкента. Это ли соображение, или то, что мне надо было идти в школу, а скорее всего, просто отчаяние и усталость подтолкнули нас к решению. Так мы и поселились в Янгиюле на последующие восемь лет.

В этом городе я пошел в шестой класс и доучился со своим классом до конца. Страхи мои оказались напрасными. Приняли меня одноклассники очень дружелюбно и я до сих пор храню теплые воспоминания о многих из них. В сентябре того шестьдесят восьмого разговоры на переменах были о Чехословакии. И смешно и грустно от того, как политика преломилась в детском сознании. Мальчишки наперебой рассказывали о том, как чехи задумали отравить жителей нашей страны. Для этого чехи, якобы, вставляли капсулы с ядом в каблучки обуви, которая отправлялась к нам. Приводились даже примеры: кто-то из одноклассников утверждал, что разломал каблук и нашел там эти капсулы. Помню, что и я верил в это!

Пока отец водил грузовые поезда, мы никогда не знали, как долго продлится его очередная поездка. Могло быть часов двенадцать, а иногда и сутки. В начале каждого месяца ему выдавали график с указанием времени, когда он должен являться на ту станцию, где машинисты принимают поезда. Грузовые ходили без расписаний, поэтому он вместе с другими машинистами ждал, что ему достанется. По прибытии очередного поезда диспетчер посылал на него бригаду, то есть машиниста и его помощника. Куда окажется очередной поезд, никто не знал. Было одно северное направление до станции Арысь, что на границе с Казахстаном, и два южных – до Хаваста и Джизака. Там бригада сменялась и шла в «дом отдыха», где имелось всё необходимое: и столовая, и душ, и спальня. Часа через три четыре отдохнувшую бригаду будили и отправляли в обратный путь.

Из нашего окна был виден железнодорожный переезд. Когда отец проезжал по нему, он сигнализировал нам повторяющимися парами коротких гудков. Если мы слышали эти сигналы вскоре после его ухода на работу, то знали, что отец уехал в южном направлении и просигналил нам на обратном пути часов через двенадцать. В те времена никаких мобильных телефонов у нас не было, поэтому такая простенькая «азбука Морзе» была единственным способом узнать, когда можно ожидать его возвращения.

Изредка отец брал меня с собой в поездки. Я был счастлив до небес, когда такое случалось. Строго говоря, посторонним находиться на тепловозе не полагалось, но начальство обычно закрывало на это глаза. На конечных станциях сердобольные дежурные в «домах отдыха» никогда не отказывали мне в приюте. Я получал чистую постель, как член поездной бригады – на правах стажера. В пути отец позволял мне сидеть в кресле машиниста. Я знал значение всех сигналов и знаков, научился даже трогать поезд с места и тормозить. Было время, я очень переживал из-за того, что никогда не смогу стать машинистом – с моей близорукостью это было невозможно, а мне так хотелось водить поезда, как отец. Жизнь моя сложилась иначе, о чем я теперь не жалею, а машинистом стал мой брат.

Квартира у нас теперь была большая: три комнаты в доме старой постройки, с высокими потолками. Как и предыдущую квартиру, и наш прежний дом, отец сразу принялся ее благоустраивать. Теперь уже и я принимал участие во всех работах: красил стены, окна и пол, вместе с отцом мастерил полки в прихожей

То, что мы оказались в маленьком городке, нас ничуть не тяготило. Во-первых, он не был провинциальным – до столичного Ташкента всего-то каких-нибудь полчаса на

электричке. Во-вторых, родители, да и мы с ними не были склонны ходить в театры или на концерты, даже когда жили в больших городах. А всё необходимое для жизни имелось и в Янгиюле. У нас в школе, кстати, были замечательные учителя. Одна из них – учительница физики, Людмила Николаевна, приехала в этот городок во время войны из Ленинграда. Думаю, со школьной физикой даже не многим москвичам или ленинградцам повезло так, как мне.

Шли годы. Летняя жара перемежалась короткими снежными зимами. Весной вишни, которыми был засажен двор, покрывались миллионами нежно розовых цветов с жужжащими среди них пчелами. Осенью холодный воздух делался удивительно прозрачным и бодрящим, словно искристое вино. Эта осенняя пора в Узбекистане – время особое – все собирают хлопок.

В советские времена сбор хлопка там был делом каким-то героико-патриотическим. Во всяком случае, таковым от представлялся с экранов телевизоров, по радио и в газетах. Ежедневно шли «фронтные» сводки о том, сколько процентов к плану собрала та или иная область и республика в целом. Удивительно, но мы внимательно слушали эти сводки, переживали, когда проценты росли медленно, и радовались успехам. Впрочем, за всем этим стоял практический интерес людей. Пока на хлопковых полях продолжались сражения за урожай, вся республика жила в режиме чрезвычайного положения – автобусы снимались с маршрутов, чтобы везти на поля дополнительных сборщиков, а ими были студенты и даже школьники, поэтому все техникумы, институты, университеты и многие школы закрывались месяца на полтора.

Не трогали школьников только в Ташкенте. А в Янгиюле, как и в других узбекских городах, все ученики старших классов обязаны были отправляться на сбор хлопка. Отказ воспринимался, как дезертирство с фронта или диссидентское выступление. Честно говоря, я не знал никого, кто бы в те годы решился на подобное. Избежать хлопковой «барщины» можно было только с помощью медицинской справки. А выдавать ее имела право только специальная комиссия – одна на весь город.

Тут-то моя физическая «ущербность» – близорукость оказывалась преимуществом. При сборе хлопка приходится многие часы проводить, низко согнувшись к земле, что вызывает рост глазного давления, а это недопустимо для близоруких. Так что в школьные годы я хлопок не собирал. Правда, каждую осень я вынужден был ходить по врачам и часами просиживать в очередях на медкомиссию, но зато получал дополнительные каникулы. Школа закрыта, за окном прохладный октябрь с его листопадом, а я дома – читаю книги. Один раз, уже в студенческие годы, я всё же пренебрег хождением по врачам и съездил на хлопок вместе со всеми. В результате зрение ухудшилось на целую диоптрию – так что справки зря не давали.

Новый год – у нас в семье всегда был самым любимым праздником, хотя, наверное, не только у нас. Сколько себя помню, к концу декабря всегда возникало ощущение чего-то волшебного. В самом раннем детстве оно бывало навеяно непривычным запахом хвои и настроением взрослых. Потом стало казаться, что оживают герои новогодних мультфильмов и сказок. Я и по сей день тридцать первого декабря просыпаюсь с чувством, что приближается нечто значительное и загадочное. Досадно бывает, когда окружающие этого не понимают и занимаются обыденными прозаическими делами, вместо того, чтобы сосредоточить мысли на происходящей смене лет.

Помню, как в шестьдесят третьем, когда я еще был первокласником, родители повели нас с братом на новогоднее представление во «Дворец железнодорожников». Там был «настоящий» Дед Мороз и множество других сказочных персонажей, которые вовлекали нас в какие-то шумные игры и танцы. Наша фотография с тем Дедом Морозом до сих пор где-то хранится. А в конце нам раздавали подарки. Как водилось в

те годы, в каждом подарке, кроме разнообразных конфет, были мандарины или апельсины.

Для нас, казалось бы, избалованных обилием ташкентских фруктов, эти мандарины были всё же в диковинку. Несмотря на жаркий климат, цитрусовые в Узбекистане не росли – наверное, из-за морозов, которые, хотя и редко, но случались зимой. Мандарины я съедал медленно – по одной-две дольки, а кожуру не выбрасывал – заваривал ее вместе с чаем.

В те годы, когда мы жили в Янгиюле, на новогодние представления я уже не ходил, но настоящую елку мы неизменно наряжали, причем елочные украшения были всё те же – они пережили и землетрясение, и наш переезд в Омск, и возвращение. К праздничному столу мы обычно готовили пельмени. Лепили их вместе – всем семейством. Мама раскатывала «сочни» – круглые листочки теста, а мы заворачивали в них мясо.

Отцу не всегда удавалось провести новогоднюю ночь дома. Когда же такое случалось, он обязательно поднимал тост «За зеленые вагоны!». Как и всякому машинисту, ему хотелось водить пассажирские поезда – зеленые вагоны. Если б не двухлетнее отсутствие, возможно, его мечта осуществилась бы гораздо раньше. В тот первый год после землетрясения, когда он катал туда-сюда вагоны по Омскому заводу, машинистов в ташкентском депо не хватало и многие из тех, кто остался, быстро продвигались: с маневров в грузовые, с грузовых в пассажирские. Теперь же все места были заняты, поэтому тост «За зеленые вагоны!» повторялся за нашим столом еще много лет.

Бамбуковые удочки, с которыми мы ходили на Иртыш, приехали с нами в Янгиюль. Весна в этих краях наступает рано. В начале апреля мы обычно «открывали купальный сезон» – ездили на пикник на берег Сырдарьи и, заодно, рыбу там ловили. Добираться было довольно далеко, поэтому наша поездка в начале сезона так и оставалась единственной до его конца. Вспоминаю сейчас со страхом, как мы ходили босиком по берегу и купались в реке – змей там было видимо-невидимо. Они выползали, наверное, пригретые апрельским солнцем. Однажды, пройдя вдоль берега метров сто, я насчитал более двадцати особей разной величины и расцветки. Думаю многие из них были опасными и даже очень. Рыбалка получалась чуть более успешной, чем на Иртыше – просто потому, что в Сырдарье рыбы больше, а для ухи мы ее, как и прежде, привозили с собой. Опять же, и не рыба вовсе нужна была нам в этих поездках.

Как-то, возвращаясь на пригородном поезде с одной из таких «рыбалок», мы разговорились в тамбуре с пожилым мужчиной в поношенной одежде, какую обычно надевали те, кто ездил на Сырдарью не как мы – на пикник, а на самом деле ловить рыбу. Разговор был обычный, ничем не примечательный: о том, на какую наживку лучше ловить сазана, или что-то в этом роде – я бы его и не запомнил, если б к нашей беседе не присоединился парень, куривший там же – в тамбуре. Парень вставил что-то о «сто восьмых», от которых проходу не стало – весь берег заняли. В те годы «сто восьмыми» в Узбекистане называли бездомных бродяг, которых нынче именуют «бомжами». Это название происходило от статьи Узбекского уголовного кодекса за номером сто восемь. О чем была та статья, не знаю, но и в советские времена бродяг было много, особенно в теплых краях. В ответ на слова парня наш собеседник спокойно, но с ноткой обиды в голосе, стал говорить о том, что бездомным может стать любой – смотря, как жизнь повернется. Вот, мол, бывает, что и войну прошел, и семья была – потом умерла жена, сын погиб, а невестка вышла замуж за другого и из квартиры выгнала. Я вдруг понял, что это он говорил о себе самом. Понял это и парень, который стал нарочито непринужденно переводить разговор на рыбалку, стараясь показать, будто не догадался, что перед ним и не рыболов вовсе. А бездомный наш философски заметил: «От тюрьмы,

да от суммы не зарекайся» и после этого хранил молчание. Парню тому теперь, наверное, за шестьдесят. Дай-то Бог, чтобы у него была крыша над головой. В «перестроечные» годы так легко было потерять и то, и другое.

Отцу, как машинисту, полагался длинный отпуск – более сорока дней. Надо сказать, дни эти давались не зря. Напряженная работа то днем, то ночью выматывала силы и физические, и духовные. Кроме такого длинного отпуска, раз в год он мог бесплатно выписать железнодорожный билет до любой станции Советского Союза и обратно на себя и семью. Путешествовать каждый год мы, однако, всё равно не могли. Только раз в четыре года отпуск давался летом – все хотят отдыхать в летнее время, поэтому составлялся график отпусков по сезонам.

Одно из самых запомнившихся наших путешествий было летом семдесят первого. Мы тогда ездили во Владивосток, где со своими семьями жили брат отца дядя Ваня и сестра тетя Маша. Они перебрались на Дальний Восток после войны на всё той же волне переселений, которая закинула моих родителей в Узбекистан.

Ехали мы долго – более десяти дней, на трех поездах: сначала до Новосибирска, потом до Иркутска, а уж оттуда до Владивостока. Город этот был закрытым – требовался специальный пропуск, чтобы попасть туда. Разрешение такое получить было можно – по приглашению родственников. Но ни они, ни мои родители не захотели ходить по инстанциям. Все, кто жил во Владивостоке, знали, как попасть туда без пропуска, и постоянно этим пользовались. Отец просто выписал билет до станции «Угольная», что в нескольких десятках километров от города. Там нас встретил дядя Ваня с машиной, которую взял на работе. Как это ни странно, но пропуска у пассажиров проверяли только на городском вокзале. Сейчас наш тот «нелегальный переход границы» представляется мне весьма рискованным, но тогда я просто доверял родителям, которые всегда знают, что делают. К счастью, всё обошлось.

Во Владивостоке я впервые увидел море, ловил кальмаров, своими глазами видел военные корабли и еще много чего интересного и необычного. Но, пожалуй, наиболее впечатляющим в этом путешествии была сама дорога через пустынные казахские степи, а потом через всю Сибирь, через таежные станции, реки, тоннели, вокруг озер и сопок. Поражали величие и красота природы, а еще то, что люди сумели таки эту дорогу построить.

Нас было четверо – мы поэтому занимали отдельное купе. Посторонние люди, какими бы дружелюбными они ни были, всегда остаются чужими и от слишком близкого соседства с ними возникает усталость, особенно, когда дорога долгая. У нас же в купе был свой мирок, с привычными семейными отношениями и порядками. Никто не тревожил нас, когда хотелось спать, никого не стесняя, мы обедали или пили чай . . .

Первая остановка была в Новосибирске, где мы провели целый день в ожидании следующего поезда. Здесь мои родители в первый и единственный раз в своей жизни совершили коммерческую операцию, которая принесла им немного денег. Из Ташкента они захватили с собой два чемодана помидоров и продали их на рынке в Новосибирске. Помню, как они волновались, хотя ничего противозаконного не делали. Помидоры были великолепные – один к одному, а цену они выставили, как за самые плохонькие из тех, что продавались там. Сразу же выстроилась очередь и помидоры кончились минут за тридцать. Уже через пять минут после начала торговли сзади стали подходить «базарные мафиози» и интересоваться, как много мы привезли. Но из-за двух чемоданов они шума поднимать не стали. Выручка была рублей сто пятьдесят. Большие по тем временам деньги. Мы на них покупали потом в дороге еду и всякие лакомства, которые народ приносил к поезду на станциях.

Вторая пересадка была у нас в Иркутске. Оставив чемоданы в камере хранения, мы отправились на берег Ангары. День был солнечный и жаркий. Народу на набережной

много – все в купальных костюмах, загорают, но почему-то никто не плавает. Мы с отцом разделись и побежали в реку. Как только ноги оказались в воде, мы сразу поняли, почему никто не купается – вода была настолько холодной, что обжигала кожу. Те, кто загорал неподалеку, посмотрели на нас сначала удивленно, а потом со снисходительной улыбкой, когда мы, как ошпаренные, выскочили на берег. Ангара это единственная река, которая вытекает из Байкала, и поэтому она холодная, как само озеро.

Еще много чего интересного узнал и увидел я в том путешествии. После него многие географические названия сделались для меня реальными и, словно бы, осязаемыми. Перед мысленным взором с легкостью возникали картины то «Яблоневого хребта», через который нас подталкивал сзади вспомогательный паровоз, то известной своим необычным названием таежной станции «Ерофей Павлович», а то вспоминалась искрящаяся на солнце речка Бирюса

Вернулись домой мы, когда летние каникулы уже приближались к концу. В те годы можно было просто закрыть квартиру на ключ и уехать, не опасаясь, что кто-то взломает замок. Мы были в отъезде больше месяца – единственное, что произошло за время нашего отсутствия, это накопилась пыль, да воздух сделался невыносимо затхлым. Приехали мы рано утром, когда магазины были еще закрыты, а продуктов в доме не было никаких – они бы все равно испортились. Есть очень хотелось, поэтому ничего не оставалось, как утолить голод красной рыбой – горбушей, которой нас в изобилии снабдили родственники перед отъездом из Владивостока. Мы потом еще многие месяцы лакомились разнообразными дальневосточными деликатесами, привезенными оттуда.

Вскоре отец вышел на работу, мы с братом пошли в школу, и жизнь вновь покатила по рельсам, мерно постукивая на стыках и стрелках в такт чередующимся дням, месяцам и годам. Никаких особых перемен в жизни отца не происходило. Он всё так же уходил в поездки и сигналил нам, проезжая мимо дома, что-то чинил в выходные и два раза в месяц ездил в депо – за авансом и получкой. Деньги платили невеликие, но на всё необходимое нам хватало. Привычка обходиться без «излишеств» позволяла нам воспринимать свою жизнь вполне благополучной и чувствовать себя не хуже других. Многие годы спустя, когда все устои пошатнулись и страна наша пришла в упадок, эта же привычка помогла моим родителям выжить на те крохи, которые доставались пенсионерам. А тогда – в начале семидесятых, мы радовались покупке нового телевизора с большим экраном, велосипеда и холодильника. Этот холодильник пережил отца и до сих пор работает.

В семидесят третьем я закончил школу и стал студентом. Вскоре после этого отец, наконец-то, перешел на пассажирские поезда. Он гордился этим. Было в той гордости, конечно, немного тщеславия, но по сути это была, скорее, гордость за свою профессию. Отец рассказывал нам, как трогает поезд с места и останавливается на станциях так, чтобы ни у кого из пассажиров «чай не расплескался». Поездки у отца стали теперь более упорядоченными: известно было, какой поезд ему везти и когда он вернется домой.

Я учился в Ташкентском университете – каждый день проделывал долгий путь: сначала полчаса на электричке от Янгиюля до вокзала в Ташкенте, а потом еще почти час на троллейбусах до Вуз-городка на другом конце города. На первую лекцию почти всегда опаздывал, а на пути домой частенько упускал свою электричку, приехав на несколько минут позже. Приходилось сидеть на вокзале час, а то и больше. Много хороших книг прочел я там.

Поначалу железная дорога была электрифицирована только вблизи Ташкента – как раз до нашего Янгиюля. Потом стали тянуть провода дальше. Машинистов переучивали: с тепловозов на электровозы. Отец ходил на курсы, приносил домой огромные листы электросхем и пытался в них разобраться. Тут возникал повод

проявиться моему собственному тщеславию. Я был студентом-физиком, прошел уже электродинамику со всеми ее хитроумными уравнениями и поэтому пребывал в горделивой уверенности, что любая схема мне нипочем. Не знаю, насколько мои путанные объяснения помогли отцу, но он сумел-таки сдать экзамен и получил очередные «корочки» – теперь уже на электровоз.

Где-то в то время я совершил два проступка, о которых до сих пор вспоминаю со стыдом и горечью. Однажды у нас были гости. В приподнятом настроении, отец много шутил и часто поднимал тосты, а то и просто предлагал «... еще по одной». Очень скоро язык его стал заплетаться, шутки сделались несмешными и весь его вид говорил о том, что он ужасно пьян. В своей горделивой заносчивости, мне было обидно и стыдно на него смотреть. Когда гости ушли, я бросил несколько упреков. Пошатываясь, отец подошел ко мне и хотел положить руку на плечо. Я в сердцах оттолкнул протянутую руку. Не удержав равновесия, он упал со словами: «Сынок, не надо так». Вместо того, чтобы помочь ему подняться, я отвернулся. Ни на следующий день, ни когда-либо после отец не вспоминал об этом. Возможно он и не помнил, а я так и не попросил прощения. Теперь же, когда отца не стало, этот грех библейского Хама щемит мне сердце. Остается лишь надеяться, что душа его услышала мое покаяние и простила.

Второй случай был, наверное, еще более ужасен. Я заканчивал третий курс – сдал последний экзамен. Настроение было прекрасным, хотелось воспарить, как птица. Поддавшись порыву и уговорам друга-однокурсника, я поехал к нему праздновать окончание сессии. А жил он в Чирчике – в том самом городке, куда родители привезли меня когда-то годовалым ребенком в нашу первую «эмиграцию» из Омска. У нас в Янгиюле был телефон, но дозвониться было в те годы непросто. Я понимал, что дома обо мне будут волноваться, но не стал утруждать себя хлопотами с походом на почту и заказом разговора. Сейчас я понимаю, что это было чудовищно, но я просто уехал в Чирчик... Меня, конечно, искали и в университете, и в милиции, и в морге.... Как я мог так поступить – до сих пор в голове не укладывается!

Без сомнения, это был один из ударов по отцовскому сердцу, и он был мой. К несчастью, он был не первым и далеко не последним. Не все из этих ударов исходили от меня, но от этого не легче – отца теперь нет, и тяжело сознавать, что мы в какой-то мере приблизили его кончину. Если и был отец счастлив в те годы, то мы с братом своими безрассудными поступками отнимали его счастье то крупичкам, а то и целыми ломтями. Впрочем, немного найдется тех, кому не в чем себя упрекнуть, когда речь заходит о родителях. Так было, так есть и так будет....

После перехода в пассажирские отцу стало гораздо дальше добираться до работы, ведь пассажирская поездная бригада меняется на центральном вокзале в Ташкенте. Я тоже за три года учебы утомился ежедневными поездками на электричке. Мы начали искать обмен на Ташкент. Разумеется, переехать из Янгиюля в столицу можно было лишь чем-то за это заплатить. Денег у нас не было, поэтому пришлось поступиться одной комнатой. Так мы вновь оказались в Ташкенте – в небольшой двухкомнатной квартире. С присущей ему энергией и тягой к уюту отец в который уже раз всё благоустроивал и переделывал в этой новой квартире. Кухню он перенес на застекленную веранду – так что, хоть и крохотная, но третья комната у нас появилась. Она досталась мне. Но недолго пришлось мне пожить в ней.

В семидесят седьмом я в первый раз уехал из дома надолго – в подмосковный город Дубна. Я тогда учился на последнем курсе и послали меня в институт ядерной физики писать дипломную работу. Отец провожал меня на самолет, как когда-то давно в шестьдесят шестом после землетрясения. Аэропорт был тот же, только порядки сменились – о том, чтобы провожающим выйти на поле, и речи быть не могло. Недавно только ввели магнитные ворота, чтобы не допускать на борт пассажиров с оружием. Кто

с опаской, кто с любопытством – люди проходили через них, отпуская всякие шуточки. Изменились за эти годы и мы с отцом. Я уже не стеснялся его поцелуя, а он не удержал слёз.

Говорят, в детях отчасти повторяется судьба родителей. Возможно в этом и впрямь есть доля истины. Восемь месяцев, проведенные – нет, скорее, прожитые в Дубне, изменили, расширили мое мировоззрение, как когда-то армия изменила моего отца. Наверное это были иллюзии, но я чувствовал, что соприкоснулся со всем огромным миром и даже стал частью его. В Дубне я увидел знаменитых ученых, о которых раньше только читал, запросто общался с иностранцами, которых там всегда было очень много, и вообще проникся духом «свободы и демократии», как сказали бы в конце восьмидесятых. Сейчас то я понимаю, что это была обыкновенная юношеская гордыня, но тогда я возрос в своих глазах.

Летом семдесят восьмого после моего возвращения и защиты диплома мы в последний раз все вчетвером поехали в отпуск – в Омск. Помню, как, выйдя из поезда, я был неприятно удивлен некоторой неопрятностью омских улиц и со «столичным» высокомерием сказал что-то о пыльном и захудалом городишке. Негромко, но укоризненно мама заметила, что не следует так о своей родине говорить. И мне стало стыдно – и до сих пор стыдно за те слова.

В Омске мы непрерывно ходили по гостям – там, наверное, полгорода доводятся нам какими-то родственниками. Отец представлял меня с нескрываемой гордостью. Ну, как же – дипломированный физик, да еще и получивший приглашение работать в Дубне. Среди многочисленной родни мало кто имел высшее образование, а многие и десятилетку то не закончили. Поэтому на меня смотрели уважительно. Я делал серьезный вид, но понимал, что гордиться мне, по сути, нечем – физик я пока только на бумаге, а в Дубну поеду на два года стажёром – ниже должности не бывает.

Как водилось в те годы, в застольных беседах ругали «безмозглое» правительство, смеялись над «глупым» Брежневым, рассказывали про него анекдоты. Ко мне обращались, как к человеку образованному, не то с вопросами, не то с упреками. В сознании многих моих родственников, относящих себя к рабочему классу, я из этого класса вырвался и перешел в интеллигентскую элиту, которая их «угнетает». Разумеется, они понимали, что я в этой элите пока никто, поэтому прямых упреков в мой адрес не было – скорее советы и наставления на будущее. Я же внутренне напрягался и становился в оборону, причем оборонял не только себя, но и правительство и даже того же Брежнева, над которым сам так же смеялся в кругу своих друзей.

Потом, через много лет, когда всё встало с ног на голову, когда я не только ругал правительство, но и активно действовал, чтобы его свергнуть и разрушить советский строй, мои родственники вновь оказались по другую сторону баррикад – теперь они защищали прежние порядки. Сейчас я с горечью понимаю, что и в том и в другом случае правы скорее были они, а не я. Такие люди, как мой отец, – люди, которых принято называть «простыми», не столь просты, как может показаться. Есть у них внутренний стержень и «народная мудрость», которая не достигается никаким образованием.

Тот летний месяц, проведенный в Омске, один из немногих, о которых без тени сомнения можно сказать, что отец был в то время счастлив. Счастье, однако, никогда не бывает долгим – оно освещает нашу жизнь краткими вспышками молний. Кого-то такие вспышки слепят и он потом падает не найдя дороги в кромешной тьме, другому же, наоборот, они помогают увидеть, что скрывает таинственная темнота. Так или иначе, но лето семдесят восьмого сменилось осенью, а с ней пришли неприятности.

Той осенью я уехал из дому навсегда. Только теперь, когда сам проводил дочь в самостоятельную жизнь, я по-настоящему понимаю, что чувствуют родители, расставаясь с детьми. Оставаться всегда труднее, чем уезжать – кем бы ты ни был, а

родителям тяжелее вдвойне. Словно бы для того, чтобы сделать большее, судьба послала им еще одно испытание: перед самым моим отъездом оказалось, что брат навлек на семью огромный денежный долг. Я не судья ему и винить не стану – каждый сам в ответе за свои поступки: и перед Богом, и перед душами отошедших к нему. Провожая меня все в том же Ташкентском аэропорту, отец старался не показывать этого, но чувствовалось, что ему было горько и больно расставаться.

Через год я приехал в отпуск. Трудности были позади – отец вновь обрел прежний оптимизм и душевное равновесие. Как он прожил этот год и что творилось в его душе, я не знаю – в письмах об этом не было ни слова, а рассказывать он не хотел. Таков был характер моего отца. От всех вопросов он попросту отмахивался со словами «Да, ладно ... дело прошлое – всё в порядке».

Вскоре брат женился и через некоторое время подарил родителям внука, к которому они очень привязались. Много раз потом, при каждой нашей встрече, отец рассказывал о своем внуке: то забавные истории из детства, то о его школьных проказах, а то что-нибудь из его армейской службы. Нет сомнения, что он очень любил моего племянника и, судя по всему, тот отвечал ему взаимностью.

Годы шли. Я тоже женился и стал отцом. Жили мы под Москвой, поэтому расстояние не позволило моим дочерям стать дедушкиными любимицами. Будь мы рядом, это случилось бы непременно. У нас в гостях родители побывали только два раза – на свадьбе, да потом через четыре года, когда нашей первой дочке исполнился год.

Это было в восемьдесят пятом – родители тогда от нас поехали в Старую Русу искать могилу моего деда, который воевал в «Сибирской дивизии» и погиб там. Нашли они не только его, но и еще нескольких земляков. Какой-то местный житель, узнав кто они и что ищут, помог им, а потом приютил у себя в доме и долго рассказывал о храбрости сибиряков. Во время войны он был мальчишкой и сам видел те сражения. До сих пор жалею, что не поехал тогда с родителями. Оправданием у меня было то, что я в тот момент готовился к защите диссертации, а на самом-то деле просто поленился ехать.

Второй раз родители видели мою старшую дочь, когда ей было три года – я взял ее с собой, отправившись в командировку в Ташкент. Со средней дочерью они познакомились гораздо позже, когда уже переехали в Омск, а она закончила девятый класс. А вот мою младшую дочь отец так никогда воочию и не видел – только на фотографиях. Не знаю, что было причиной тому – то ли отсутствие денег, то ли боязнь путешествовать, то ли страх провинциальных жителей перед поездкой в столицу. Наверное, и то, и другое, и третье ... Во всяком случае, с началом «перестроечных» потрясений денег на путешествия не стало хватать – уж это точно.

В начале девяностых, когда всё вдруг в одночасье рухнуло, родители вместе с моим братом неожиданно превратились в нежеланных иностранцев и даже «оккупантов» там, где прожили значительную часть своей жизни, где трудились, растратили молодость и здоровье. С обидой и горечью рассказывали они потом, как узбеки продавцы в магазинах демонстративно не замечали их присутствия в очереди или швыряли на прилавок продукты, словно собакам. Были, конечно, и другие узбеки, которым всё это не нравилось, но таких было меньшинство.

Наверное из этого меньшинства оказались и те, кто купил у моих родителей квартиру и помог отправить в Омск контейнер с вещами. Другие ведь могли просто всё отобрать. Если в шестьдесят шестом после землетрясения родители уезжали в Омск, как пострадавшие, то теперь они были беженцами. Словно бы вскочив в последний вагон уходящего поезда, они чудом сумели получить какие-то деньги за квартиру и не менее чудесным образом даже купили какое-то жилье в Омске. Конечно, это была халупа – полдома с маленьким двориком, но всё же стены и крыша над головой. В те годы не многим беженцам выпала такая «удача».

Первый же год на новом месте принес еще одно испытание – пожар. Хозяева второй половины дома оказались людьми безалаберными. Они сыпали золу из печки прямо под стену дома. Пожар случился под Новый Год. К счастью, и тут моим родителям повезло – огонь заметили из окон соседнего многоэтажного дома и вызвали пожарных. Эти же люди помогли спасти вещи и не дали пламени разгореться до приезда пожарной команды.

В который уже раз отец занимался ремонтом и строительством. Откуда только силы брались? К тому времени он был уже пенсионером, но еще работал в котельной неподалеку – пригодились знания и опыт, полученные когда-то давным давно на паровозе. Девяностые годы разрушили не только всё жизненное устройство, но и души многих людей. Впрочем, если у кого-то была так называемая «рабочая совесть», о которой так много говорилось в советские времена, то она, наверное, и сохранилась, а у остальных ее попросту никогда и не было. В котельной, куда устроился отец, по-настоящему работал только он один. Другие же пили, играли в карты, да чесали языками. Все они были значительно моложе отца и посмеивались над чудаковатым стариком, но работать не мешали – пусть, мол, трудится, раз такой упёртый. Рядом с домом у колонки, из которой все соседи брали воду, снег расчищал и скалывал лед тоже только он.

Когда нам пытаются внушить, что русские ленивы, безответственны и не способны делать что-либо аккуратно, я всегда думаю о своем отце. Ну, положим, не все похожи на него и, тем не менее, таких много. К слову сказать, в той котельной главным лентяем и заводилой пьянок был вовсе не русский, а немец – из тех, что Сталин переселил в свое время из Поволжья в Сибирь.

Несколько лет прожили родители в этом спасенном от пожара доме. Пристроили кухню, небольшую баньку, подлатали всё и покрасили. Я побывал у них за это время только один раз. Уложил даже десятка два кирпичей в стену строившейся кухни. Видеться чаще не было никакой возможности. Все мы тогда просто выживали. До сих пор не могу есть макароны, откажусь даже от самых шикарных в каком-нибудь итальянском ресторане – они у меня вызывают воспоминания о нищете девяностых.

Как и многие в нашем научном городке, мы жили тогда от одной моей заграничной командировки до другой. Я привозил, конечно, какие-то забавные игрушки дочкам и что-то из одежды, но главным трофеем всегда была, пусть и тоненькая, пачка долларов, которая позволяла на время забыть о макаронах.

Моя последняя командировка в девяносто седьмом растянулась на целых одиннадцать лет и длится до сих пор. Так мы оказались на другой стороне земли, в Претории, откуда до Омска стало невообразимо далеко. И тем не менее я стал навещать родителей чаще – не столь часто, как хотелось бы, но всё же раз в два-три года удавалось там побывать.

В первый раз в качестве «иностранный гостя» я попал в Омск в две тысячи первом году. Мы приехали туда вместе со средней дочерью, которая к тому времени уже целый год жила в Дубне с бабушкой – лечилась у врача, у специалиста, каких в Претории не было. Мы с Анютой ехали два дня поездом – мимо городов со сказочными именами, вроде Гуся Хрустального или Муромы, мимо маленьких одиноких станций, поражавших нас своей кажущейся оторванностью от остального мира. А какие удивительные и, порой, забавные названия попадались в пути: то «Щучье Озеро», то «Коврига» или «Твердыш», а то и «Замараево». Я смотрел на российские просторы, проплывающие за окном, с грустью вспоминал нашу давнюю поездку на Дальний Восток и мечтал о том, что когда-нибудь мы тоже всей семьей отправимся на поезде в Сибирь к моим родителям. Тогда я еще надеялся на это, но теперь, увы, как говорится, «... одних уж нет, а те далече...».

Родители к тому времени поменяли свой домик на однокомнатную квартиру. Жили они теперь тесновато, но зато были избавлены от постоянной заботы о дровах для печки, не приходилось им больше носить воду из уличной колонки и чистить двор от снега. Отец, неутомимый, как и прежде, сделал квартиру уютной и аккуратной. Новый линолеум на полу, обои, потолок, оклеенный белым пластиком под лепнину, полочки и шкафчики – всё это он сделал почти в одни руки. Брат мой, который жил со своей женой отдельно, помогал, конечно, но отец стремился полагаться лишь на себя. Из котельной он ушел и больше не работал – так что времени было достаточно, а силы ещё оставались.

Встреча на вокзале была очень трогательной. Отец с братом нетерпеливо смотрели через головы пассажиров, когда мы с Анютой появились в дверях тамбура. Брат мой был более сдержан, а отец позволил своим чувствам выплеснуться, не обращая внимания на окружающих. С криками «Сережа, сынок!» он бросился ко мне и глаза его наполнились слезами радости.

Внучку родители мои знали только по фотографиям – так же, как и она их. И тем не менее чужой она себя там не чувствовала. Сразу же возникли некие невидимые нити, связывающие нас в единую семью. Не сомневаюсь – будь у нас возможность жить рядом, эти нити были бы куда более прочными.

Несмотря на все наши с Аней протесты, нам уступили имеющиеся спальные места – сами родители спали на полу. Я чувствовал себя неловко, но поделаться с этим ничего не мог. Столь же трудно было бороться и со стремлением нас непрерывно и обильно кормить – особенно по утрам. Давно уже я не съедал столько за завтраком, а для малоежки Анюты это было настоящее испытание. Зато какими долгими были разговоры за столом! Никому из нас спешить было некуда. Дедушка с бабушкой интересовались планами внучки на будущее и осторожно, но настойчиво, советовали возвращаться в Россию. А она тогда только еще девятый класс закончила. Теперь вот уже и университет, можно сказать, позади и планы возвращения домой сделались твердыми и конкретными. Только вот дедушка не дожил

Специально для нас родители покупали фрукты и всё удивлялись, что мы их не едим. А мы с восторгом налегали на настоящие сибирские пельмени домашнего изготовления – именно такие, о которых я много рассказывал жене и дочкам. Как и следовало ожидать, нас водили по родственникам, многочисленность которых поразила Анюту. В каждом доме приходилось отвечать на одни и те же вопросы и рассказывать об Африке и о заграничной жизни вообще. На стандартный вопрос: «Ну, как там в Африке?» мы шуточно отвечали фразой, сказанной как-то моей женой: «Прогресс упадка налицо», а потом уже разъясняли озадаченным слушателям смысл этих слов. Поразило нас замечание одной из моих двоюродных сестер, которая удивилась тем, что мы говорим по-русски без акцента. Ну, что тут скажешь?

Прощание у поезда было грустным – словно бы навсегда. Впрочем, для Анюты и дедушки, как оказалось, и впрямь навсегда. За две недели он успел полюбить внучку и много раз потом подробно расспрашивал меня о ней. Были и слезы, и глубокие вздохи, и крепкие объятия Но поезд неумолим – вагон стал набирать ход, сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее. Вместе с перроном от нас удалялись в прошлое три родных человека – мои родители и брат. Свидимся ли еще? Дай-то, Бог!

Я после того побывал в Омске еще два раза – только теперь один. Приезжал в Дубну «в командировку» заниматься научной работой. Ну, а оттуда до Омска «рукой подать», если смотреть из Претории. Чудно устроен мир – бродил я по городу в котором родились мои дочери, бродил, как иностранец, а они в это время оставались на другом конце света. Было в этом что-то неправильное, щемящее сердце.

Родители меня ждали и готовились загодя. Наверное, откладывали деньги со своих крохотных пенсий. Я старался не обременять их лишними тратами – всё, что мог, покупал сам. Но где уж там – хочется угостить сына, который так редко приезжает.... Надо сказать, родителям как-то удавалось сохранять вполне достойный уровень жизни, несмотря на все потрясения, перестройки, переезды и ничтожность заработанных тяжким трудом пенсий. А может быть мне просто казалось, что живут они неплохо – я ведь не знаю, что было у них на столе в мое отсутствие. Да и привыкли мы судить о достатке по тому только, чем люди питаются. В стране, не раз пережившей голодные времена, это видимо сохранится ещё надолго.

Помогала моим родителям выживать привычка не покупать ничего «лишнего». У них в обиходе были всё те же вилки и ложки, которыми мы пользовались ещё в Ташкенте до землетрясения. И кастрюли, и даже некоторые тарелки сохранились с тех давних пор. Холодильник они ни разу в своей жизни не меняли. Купленный ещё в конце шестидесятых, он до сих пор работает. В свой последний приезд я подарил им пылесос. Никогда раньше не пользовались они подобной «роскошью» и поэтому радовались этой игрушке, как дети. Да и одежды «лишней» у них никогда не было – только то, без чего нельзя обойтись. Но к тем вещам, что имели, они всегда относились аккуратно и бережливо.

Не покупали родители и алкоголь – к моему приезду отец делал «свою». Надо признать, он был мастер и в этом. Настоянный на дубовой коре и ещё на чем-то, его напиток ничуть не уступал виски самых дорогих марок. К тому же, мы не боялись отравиться – тут всё было сделано своими руками, от браги до конечного продукта. А в какой-нибудь магазинной водке всегда может оказаться технический спирт или ещё какая «химия».

Вечерами мы долго засиживались за ужином – говорили, вспоминали прошлое, строили планы, спорили о политике ..., да и просто молчали. Не находя слов, а может быть сдерживая чувства, отец обнимал меня за плечи и раз за разом повторял: «Сережа... сынок!», а потом добавлял: «Давай еще по одной» и наливал мою рюмку до краёв. Я пытался отказываться, но, глядя в опечаленные глаза отца неизменно соглашался. Ему вовсе не хотелось напоить меня или напиться самому. Просто само действие – чокнуться, что-то сказать, пусть даже избитое «Будем здоровы!», делает людей ближе, хоть и на краткий миг. Ну, разумеется, можно достичь соприкосновения душ и иным способом, но отцу моему, не искушенному изысками философских бесед, иное было неведомо. Теперь, когда его уже нет, с болью в сердце вспоминаю ту рюмку, от которой отказывался, и глаза отца, глядящие на меня печально. Нет, не выпить уже так ни с кем и никогда больше

Последнее, что осталось в памяти, это наша поездка в Круглово. Деревня почти вымерла – только несколько стариков доживают там свой век, да из Омска наезжают временами дачники. Мы поехали проведать и прибрать могилы родственников. Там на опушке леса небольшое кладбище – почти семейное. Могил не наберется и сотни, а разных фамилий всего-то с десятков – одна из них наша, да ещё есть Кудимовы – это родственники с бабушкиной стороны.

Почистив могилы от травы, мы разложили скатерть неподалеку в тени ветвистой березы. Пока мама собирала на «стол» нехитрую снедь, что мы привезли с собой, я побродил между оградками, вглядываясь в лица на тех надгробиях, где имелись портреты. Каждый из этих людей был когда-то молод и полон сил, радовался удачам и переживал несчастья; в душе каждого был заключен целый мир, все они строили планы и мечтали Кому-то Бог позволил те планы осуществить, кто-то достиг того, о чем мечтал, а другому Он даровал судьбу такую, что со стороны могла показаться неудачной. Но кто из нас знает, что ему во благо, а что во вред? И что же такое – быть счастливым?

Счастливы тот, кто умеет таковым быть, кто радуется тому, что у него есть, хоть и всегда стремится к лучшему. Увы, но мало кто из нас наделен таким талантом – быть счастливым.

Размышления мои прервал крик отца – всё было готово. Усевшись на траву вокруг скатерти «самобранки», мы помянули дедов, прадедов и всех, кто покоился в этой земле. Отцова «огненная вода» разливалась по телу приятное тепло, над головой мягко шелестела береза, от травы и лесных цветов исходил пряный аромат. В душе были мир и покой. Я чувствовал, что в тот момент и родителям, и брату было так же хорошо, как и мне. Удивительно – ощутить приступ счастья на краю кладбища! Я не стал отказываться ни от второй, ни от третьей рюмки. Жаль только, что брат не мог выпить с нами – он был за рулем.

Закончив нашу поминальную трапезу, мы поехали в деревню. Зрелище было печальным: деревянные дома, ушедшие в землю по самые окна; заросшие бурьяном дворы и переулки; покосившиеся заборы и ... ни души на улице. А мне помнилась совсем другая деревня – шестьдесят шестого – полная людей и жизни. В ту пору во дворах кудахтали куры, к вечеру по улице шло стадо коров, тяжело несущих в отвисшем вымени по ведру молока. Я поражался тому, что каждая знала свой дом и, зайдя во двор, призывно мычала, словно требуя поскорее освободить ее от тяжелого груза. Мимо ворот проезжали телеги, груженные то сеном, то дровами, а в огородах, что тянулись вдоль реки, зрели всякие овощи и ягоды. Моих сверстников жило там довольно много. Перед сумерками мы сидели где-нибудь на завалинке, щёлкали семечки и болтали о разных пустяках. Я, правда, больше слушал. Стоило мне сказать что-нибудь, деревенские девчонки поднимали меня насмех, показывая, что я – «городской» – ничего-то в деревенской жизни не понимаю. Но смеялись они беззлобно, по доброму – так что обидно не было. Где то они нынче – те девчонки? Да храни их Бог, коли живы!

Могу вообразить, что чувствовал отец, глядя на этот разор и опустошение. Здесь он родился и вырос; он то помнил куда более моего и потому переживал, наверное, сильнее. Отец, однако, хранил молчание – вздыхал только, да сокрушенно покачивал головой. Остановившись и выходить из машины он не хотел, но я настоял на том, чтобы мы пошли к реке. Несмотря на то, что всё там покосилось и заросло высокой травой, я без труда нашел тот самый проулок, ведущий к берегу, между огородами и бывшим домом Кудимовых, по которому мы с троюродным братом – Толей Кудимовым бегали на речку. А было это ..., подумать только! – ровно сорок лет назад.

Вот и мостки, с которых мы прыгали в воду, и заросли крапивы, сквозь которую мы с ним прорубали лабиринты самодельными мечами Тут, у этих мостков мы с Толей учились плавать и всё мечтали когда-нибудь доплыть до другого берега.

Отец не говорил ничего – лишь смотрел по сторонам и о чем-то думал. Какие картины возникали в его памяти – не знаю, но эти мостки, несомненно, должны были оставить след и в его жизни.

День был знойный, от земли и травы поднимались волны жаркого воздуха, парило – должно быть, перед грозой. Вода казалась недвижимой, словно в озере. Ее зеркальная гладь сулила прохладу и свежесть. Я предложил искупаться. Отец стал отказываться, почти как я от его предложений «еще по одной». Я же, упустить такую возможность не мог – доведется ли когда еще прикоснуться к детству.

Раздевшись, я пошел в воду. Как и в давние годы, дно покрывал слой вязкого ила, в который ноги уходили по щиколотку. Зайдя глубже, я окунулся и поплыл, возгласами удовольствия подзадоривая стоявших в нерешительности отца с братом. Сначала брат, а за ним и отец сдались, наконец, и тоже решили искупаться. Мы поплескались немного у мостков, а потом поплыли к другому берегу. Мама кричала отцу вдогонку, чтобы он не плыл за нами – возраст, мол, уже не тот. Но отца было не остановить.

Другой берег вовсе не был так далеко, как казалось мне в детстве – всего-то метров пятьдесят, как дорожка в бассейне. Мама кричала нам, чтобы не оставляли там отца. А мы и не собирались этого делать. Неспешно, вместе с ним мы вернулись назад.

Отец стоял на берегу и тяжело дышал. «Спасибо, Сережа!» – сказал он мне, – «Давно я уже не плавал. Спасибо, что уговорил!». После той поездки в деревню я жил с родителями еще с неделю и мы много разговаривали. Но все наши беседы размыты временем, а эти слова благодарности врезались в мою память и остаются последними воспоминаниями об отце. Как сейчас, стоит он перед моими глазами – мокрый, усталый, но довольный и улыбающийся.

Как и прежде, расставались мы на вокзале. Странно, но я не могу вспомнить, как ни стараюсь, момент последнего прощания с отцом. В памяти сохранилось только его улыбающееся лицо. Больше я отца не видел

После, мы еще несколько раз разговаривали по телефону, но всё это совсем не то, что живое общение лицом к лицу. К тому же, в телефонной беседе нетрудно скрыть неприятности. Брат мой потерял работу, через какое-то время устроился шофером и чуть не погиб, когда его машина, работавшая на газе, взорвалась. Вместе с потерей работы посыпались и долги – банковские кредиты и огромные проценты по ним А я узнал обо всем этом только через полгода, а то и больше – да и то, может быть, не всю правду.

Отец, конечно, сильно переживал, хотя и старался не подавать виду. Все эти несчастья были отголосками тех же потрясений, которые сделали его на старости лет беженцем. Ни о безработных, ни о беженцах, ни, тем более, о банковских процентах в прежние времена и не слыхивали. История еще раз проехала по его судьбе своим немилосердным колесом – теперь, очевидно, уже задним. Я тоже чувствую свою вину в этом, потому что в своё время участвовал в борьбе за «свободу и демократию». Теперь сожалею, что невольно приложил руку к тому, что страна наша пришла в упадок.

Не привык отец жаловаться – ни на судьбу, ни на здоровье. К врачам ходил только по крайней необходимости. А сердце его никто никогда и не проверял. Но не из железа было это сердце – нет, вовсе не «пламенный мотор», как пелось во времена его юности. Не выдержало оно и ... остановилось

Звонок брата застал меня врасплох. Впрочем, к такому страшному известию быть готовым нельзя. Что почувствовал я в тот момент – передать трудно: испуг, удивление, отрицание реальности, жалость и ужас колотили мое сознание то поочередно, то разом, словно ледышки града. Потом пришло оцепенение, отсутствие каких-либо мыслей и чувств – я как будто выпал из окружающего мира, который продолжал бурлить, но по другую сторону стекла, отделившего меня от самой жизни.

Брат сказал, что всё организовано уже и похороны завтра. Если б я бросился немедленно в аэропорт, то в лучшем случае успел бы к тому времени добраться только до Москвы – другая сторона земли, что ни говори, всё-таки ужасно далеко. А завтра было воскресенье, которое я до этого планировал провести дома – поработать в тишине. Обычно по воскресеньям мы с утра едем в русскую церковь, что на полпути между Преторией и Йоганнесбургом – возвращаемся часам к двум. Работу давно надо было закончить, я поэтому всё обдумывал, как объяснить жене, почему не поеду на службу. Но теперь ни о какой срочной работе и мыслей не было.

Когда в Омске хоронили отца, я за многие тысячи километров стоял в церкви на службе и, может быть, в первый раз по-настоящему молился. Чего просил я у Господа, понятно каждому – простить отцу моему все грехи вольные и невольные, и принять душу его. А еще я разговаривал с отцом и, казалось, он слышал мои, от сердца идущие просьбы простить меня за всё то, чем огорчил его я.

Семдесят четыре года ходил отец мой по земле. Лето сменялось осенью, дожди – снегом, а он менял города, улицы и дома, дружил и ссорился, обретал и терял Дожди

и снег всё так же будут идти и лето будет следовать за весной, только вот мир этот красочный отныне не будет отражаться в его душе. Вместе с этим отражением исчезли и воспоминания, которые хранил он – о тех, кто жил до него, о друзьях и недругах, да и обо мне тоже. Прошлое, словно мозаика, составлено из подобных воспоминаний живущих людей. С уходом каждого из них гаснет одна из точек, которые все вместе и создают картину.

Пока живы родители, наше детство не умирает. К тому же, они остаются теми, кто всегда радуется нашим успехам и переживает неудачи. Добившись чего-нибудь, мы, помимо прочего, думаем и о том, как им приятно будет об этом узнать. А свои неудачи стараемся скрыть, словно двойку в дневнике. Когда же они покидают нас навсегда, становится вроде бы и не для кого «получать пятерки в школе».

Размышляя о том был ли счастлив мой отец, я вдруг осознал, что вопрос следует ставить иначе – был ли он доволен своей жизнью? Ведь каждый смотрит на успехи и неудачи, и понимает счастье по-своему. Да и в самом деле – отец был лишен многого: не наслаждался в полной мере ни настоящей музыкой, ни живописью, ни литературой; не повидал заморских красот; не пожил с комфортом ... Эти «не получил», «не имел», «не пожил» ... можно было бы продолжать и продолжать, но в них ли суть?

И то правда – если смотреть на мою собственную жизнь со стороны кого-нибудь более удачливого или богатого, то я тоже многого не получил и не имею, а спросите меня счастлив ли я – отвечу «да» без колебаний.

Так был ли счастлив мой отец? Ответа я не узнаю теперь уже никогда – ведь по душам мы так и не поговорили.

Претория – Стокгольм, май 2008 г.